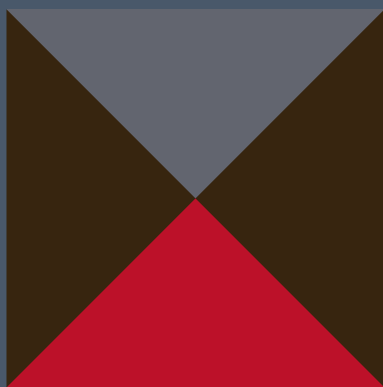


Иоганнес Бобровский

ТЕНЕРЕЧЬЕ



Избранные стихотворения

К столетию со дня рождения

Иоганнес Бобровский

ТЕНЕРЕЧЬЕ

Избранные стихотворения

Калининград 2016

УДК 821.112.2-1
ББК 84(4Гем)6-5
Б725



«Издательская программа
Правительства
Калининградской области»



К 70-летию
Калининградской области

Переводы выполнены по изданию:

Johannes Bobrowski, *Gesammelte Werke in sechs Bänden.*

Deutsche Verlags-Anstalt, München 1998

Право на издание любезно предоставлено издательской группой Random House (Германия)



RANDOM HOUSE
BERTELSMANN

Идея: Борис Бартфельд, Олег Глушкин

Составление, перевод, комментарий: Сергей Морейно

Предисловие: Владимир Гильманов

Послесловие: Борис Бартфельд

Редактор: Алда Бароне

Составитель благодарит

Адама Бобровского, Клауса-Юргена Лидтке [*The Virtual Baltic Sea Library*],
«Общество Иоганнеса Бобровского» [*Johannes-Bobrowski-Gesellschaft*] в Берлине,
Калининградскую областную научную библиотеку, «Музей истории города Советска»,
Министерство науки, исследований и культуры Земли Бранденбург [*MWFK*],
Библиотеку замка Виперсдорф, Франциску Цверг и Зорку Цикламини

При составлении комментария использовалось издание:

Eberhard Haufe, *Bobrowski-Chronik: Daten zu Leben und Werk.*

Königshausen & Neumann, Würzburg 1994

Перевод осуществлен при поддержке Дома переводчика Looren (Швейцария)

[lo:rən]

Translation House Looren

Б725 И. Бобровский, Тенеречь. Ижевск: ООО «Принт-2», 2016. — 196 с.

ISBN 978-5-9631-0499-6

Ограничение по возрасту: 12+

© ГБУК КОНБ, 2016

© Johannes Bobrowski, *Gesammelte Werke in sechs Bänden. Erster Band. Die Gedichte*
1998, Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

© Борис Бартфельд, текст, 2015

© Владимир Гильманов, текст, 2016

© Сергей Морейно, перевод, тексты, 2012–2016

СОДЕРЖАНИЕ

Между виной и надеждой [<i>Владимир Гильманов</i>]	11
Поселок	21
Детство	22
Рыбачки Куршской косы	24
Рыбацкая гавань	25
Старая военная дорога	26
На телеге	28
У реки	29
Литовский колодец	30
Кладбище	31
Ночь в деревне	32
След на песке	33
Литовские песни	34
Сарматская равнина	35
Отблеск	37
Прусская элегия	38
Страсти по Янну	41
Вийон	42

Гюндероде	43
Алексис Киви	44
Джозеф Конрад	46
Дилан Томас	47
Лебединая песня	48
Ветряк	49
Проселок	50
Церковь «Утоли моя печали»	52
На Таврической дороге	53
Пейзаж с птицами	54
Ильмень-озеро 1941	55
На родине Шагала	56
Латышские песни	57
Западная Двина	58
Каунас 1941	59
Возвращение	61
Пламя и снег	62
Побережье	63
Однажды	64
Мемель-река	65
Даубас	67
Зимний свет	69
Равнина	73
Два оклика	74
Летние крики	76
Сокрытое	77
Рассказ	78
Странник	79
Зимние крики	80
Гаман	81

Старый двор в Вильне	82
Бузинный цвет	83
Хасид Баркан	84
Памятка	85
Приметы ненастья	86
Нения	88
Марина	89
Гельдерлин в Тюбингене	90
Холм Юденберг	91
О реках	92
Гертруд Кольмар	94
Нелли Сакс	95
Дон	97
Икона	98
Заброшенный край	99
Под каймой ночи	100
Севернорусский город	101
Перемена мест	102
Рыбачьи поселки в сумерках	103
Базилика 1941	104
Церковь в селе 1942	106
Отчет	107
Монастырь близ Новгорода	108
Томский тракт	109
Пасха	110
Русские песни	111
Воспоминание для Б. Л.	112
Брод	113
Деревянный дом	114
Путь домой	115
Вечно называть	116

Мицкевич	117
Время шук	119
В потоке	120
Латышская осень	121
Новгород	122
Тенеземье	124
Клопштоку	125
Узнавание	126
Тольминкемен, деревня	127
Города на Волге	128
Аир	129
Балтийские города	130
Брошенный дом	131
Песнь для Уллы Винблад	132
Время написания стихотворений	135
Примечания Иоганнеса Бобровского	138
Хроника короткой жизни [<i>даты жизни и творчества</i>] . . .	139
Иоганнес Бобровский — мнимое время [<i>Сергей Морейно</i>] . . .	161
Переплыть озеро и взойти на холм [<i>Борис Бартфельд</i>] . . .	190

МЕЖДУ ВИНОЙ И НАДЕЖДОЙ

Владимир Гильманов

В поэтической истории XX века, отмеченного почти апокалиптической динамикой военно-политических и антропологических катастроф, большинство поэтов были вынуждены стать «внутренними эмигрантами». Будто подтверждая печальный диагноз знаменитого еврейского богослова Мартина Бубера: «Как можно жить в мире, в котором возможен Освенцим?» — многие из них попытались укрыться от «банальности зла» (слова Ханны Аренд) в своих поэтических убежищах, противопоставляя демонической тайне расчеловечивающего беззакония вечное усилие Орфея — вывести из царства смерти украденную душу мира.

Одним из таких поэтических эмигрантов в эпоху национал-социализма в Германии был Иоганнес Бобровский, родившийся 9 апреля 1917 года в Тильзите [г. Советск Калининградской области]. После окончания гимназии в Кенигсберге и переезда его семьи в Берлин в 1938 году, Бобровский, уже во время войны став студентом искусствоведения в Гумбольдтском университете, сблизился с движением христианского сопротивления, которое основывалось не на открытом протесте, а на духовно-гуманистическом стремлении противостоять «зверю из бездны», обольстившему нацию великих мыслителей и творцов.

Одним из центров этого противостояния был журнал, издававшийся Паулем Альвердесом и Карлом Бенно фон Мехов в Мюнхене с 1934 по 1944 гг., с примечательным названием «Das Innere Reich». Даже смысл этого названия проблематичен (то ли библейское «Внутреннее царство», то ли светское «Государство внутри Рейха»), как проблематична и его идейная направленность, кодированная романтической верой в то, что в глубинной сути сердец всё еще живы энергии, причащенные добром и свободой, — несмотря на изощренные формы перфекционизма в деле превращения человека в технологически совершенную шестеренку для мегамшины убийства.

Именно в этом журнале появляются первые публикации стихов молодого Бобровского, который по-прежнему верит, что можно укрыться в потаенной поэтической крепости, защищенной от острого осознания своего неизбежного соучастия во всем происходящем. Однако вскоре вера в возможность эмиграции внутрь собственной невинности перейдет в острое переживание вины за всё, что не только происходит, но и происходило в истории. Эта *умо-* и *сердце-*перемена случится под влиянием целого ряда факторов, отраженных в творчестве Бобровского; среди них и опыт войны на Восточном фронте, куда он был отправлен в 1941 году, и опыт плена, которым закончилась для него война, и опыт новой Восточной Германии, где он по возвращении после плена стал одним из ведущих немецкоязычных поэтов послевоенной Европы.

Пожалуй, самым точным ключом к открытию нового Бобровского является тот, кого проникательный Гете назвал «самой светлой головой» XVIII века — хотя век Просвещения [Aufklärung] был отмечен такими гениями, как Кант, Гердер, Лессинг, Виланд, Мендельсон и многие, многие другие. Это — «маг с Севера», кенигсбергский мыслитель, современник и приятель Канта Иоганн Георг Гаман. Но в отличие от Канта Гаман развивает не философию разума, а своеобразную «теологию чувства», которая, однако, не имеет ничего общего с прославлением иррациональных, анонимных чувственно-страстных состояний, что в христианской традиции узнаются как силы греховности. «Чувственно-страстное» в понимании Гамана есть высшая степень экзистенциально-личного, интимного отношения человека к Богу, природе, истории, Священному Писанию, к другому человеку. В основе этого

«чувственного отношения» — тайна Любви; человек, будучи «образом и подобием», владеет ее даром совместно с Богом.

Чудо в том, что при всей огромной субстанциальной разности между Богом и человеком они могут свободно любить. И именно в Любви Бог, согласно Гаману, нисходит к человеку — в слове природы, истории и Писания. Бог обращается к человеку как в тексте Библии, так и в каждом явлении действительного мира, в исторических событиях, в самой природе. Поэтому, считает Гаман, *мы все способны стать пророками. Все явления природы суть сны, лики, загадки, имеющие свое значение, свой тайный смысл. Книги природы и истории суть не что иное, как шифры, сокрытые знаки, для которых необходим ключ, излагаемый Священным Писанием и являющийся целью его вдохновенного воздействия.*

Творчество Бобровского — это гениальная попытка расшифровать таинственные шифры природы и истории и донести их смысл до глухнувшего и слепнувшего мира в сложнейшей поэтической стилистике. Именно под влиянием Гамана Бобровский развивает идею пророческой миссии подлинной поэзии, призванной к воскрешению памяти и любви, и пробует реализовать ее на практике. Под его же влиянием Бобровский постигает трагическую глубину вины, каковая у христоцентрического Гамана доходит до осознания своего участия в убийстве Бога. Об этом Гаман пишет в исповеди, сохраненной для потомков («Мысли о моем жизненном пути»); немногие прочитали эту исповедь, считая Гамана непонятным гением, имевший, по слову Гете в его автобиографической «Поэзии и правде», «большое влияние на своих современников», но оставшийся для всех «такой же загадкой, какой навсегда остался для своего отечества».

В поразительной симметрии к Гаману такой же загадкой для современников остается Бобровский: его творения *суть не что иное, как шифры, сокрытые знаки, для которых необходим ключ* сердечного и конгениального сотворчества.

Этот ключ ищет и находит переводчик Сергей Морейно, разгадывая «загадку Бобровского» даже не на уровне когнитивной пропорциональности, а в таинстве причащения к сердечному ритму поэта, переходящему в уникальную ритмику и метрику произведений. С точки зрения научной теории перевод Бобровского невозможен, как невозможен перевод Пушкина,

поскольку всегда и неизбежно возникает национально-языковая и душевно-сердечная аритмия не только поэта и переводчика, но тех уникальных универсумов культуры, каковые в своей метаисторической сути отражаются в исторических судьбах народов и, что для поэзии самое главное, в судьбах национально-культурных логосов – в тайновидении Слова.

У каждой культуры – свое Слово и решить уравнение логосной эквивалентности – задача сложнейшая, поскольку ставит переводчика перед необходимостью организовать встречу вселенских горизонтов двух разных культур в точке объединяющего Логоса. По законам физики и метафизики в этой точке пространства и времени достигается сингулярность** истории и провидения, часа и вечности, фонемы мира и тонемы всеобщего универсума и, в конечном счете, общей вины и надежды. Переводчик ищет эту точку сингулярности как в оптике физического пространства-времени, так и в поэтическом сердце-зрении их метафизического созвучия в разных культурах и логосах. Это – Сарматия Бобровского с ее уникальным голосом, услышанным поэтом и со-услышанным переводчиком:

Душа,
во мгле, поздно –
отворил себе жилы
день, и синь –
Равнина поет.

Кто
эту песнь-волну,
кто повторит, к берегу
приблужу, песнь:
море, после штормов,
волну – –***

Сарматией античные авторы называли край между Вислой и Неманом, основу населения которого до завоевания Тевтонским Орденом составляли в основном языческие пруссы. Но в творчестве Бобровского Сарматия предстает не только как географическое пространство, но прежде всего как «место исто-

рии», точнее, локус сгущенной исторической вины народов по отношению к друг другу, начиная от насильственной колонизации восточных земель в средневековье и заканчивая массовыми убийствами евреев и славян во время второй мировой войны и последовавшим затем изгнанием гражданского немецкого населения из Восточной Пруссии. «Сарматский топос» предстает у Бобровского топосом общей судьбы и вины и одновременно — топосом надежды на очищающую и преображающую память.

В 1961 году в своих заметках к изданию поэтической антологии «Отражение — немецкая лирика после 1945 года»^{****} Бобровский писал: *...я вырос на берегах Мемеля, где жили в непосредственном со-седстве и контактах поляки, литовцы, русские, немцы, а среди них также и евреи. Это — долгая история, начинающаяся со времен Немецкого Ордена, сплетенная из горя и вины...* В творчестве Бобровского эта история представляет собой тематическую доминанту и главный повод для преображающего воспоминания о «потерянном времени» и для «сотериологического проекта»^{*****} истории, намеченного уже в первом поэтическом сборнике «Время сарматов» (1961), принесшем поэту всеевропейскую известность. В нем он впервые обращается к краю сарматов на «ты», веря в то, что распознал его голос, застрявший в ветвях прибрежных сосен, или жалующийся из мокрых луговых трав, или стонущий в холодеющем дыхании балтийского ветра...

Дать
бы песню тебе,
свет гневной любви —
и он же мрак, горечи
жалоб полон, как дерн
лугов влажен, как нищие
сосны склонов, кряхтя
под тусклым ветром зари,
под вечер сгорая —^{*****}

Парадоксальным образом, словно означивая необходимость «школы счастья» для этого общего топоса, Бобровский обозначает проблему отсутствия общего логоса у «сарматского времени», актуальную и по сей день. Вот почему, видимо,

издатели совместного сборника, посвященного Бобровскому и объединившего исследователей из Польши, Германии, Литвы, Латвии, России и других стран, назвали его «Время из молчания»^{*****}, как бы подчеркивая драматизм немоты «сарматского времени» в напряжении между отчаянием и надеждой, которое невозможно не почувствовать, например, в поэтическом диалоге с «Сарматской равниной»:

Равнина,
гигантский сон,
гиганта в миражах, неба твоего
даль, звонница,
под сводом жаворонки,
там —

На эсхатологической границе между отчаянием и надеждой «Сарматская» равнина реки Времени — это пространство, которое Бобровский персонифицирует: Жена, Дева, охраняющая истинное время, «Время сарматов», потерянное народами, сведенными судьбой (и провидением) в едином пространстве.

...реки у бедер твоих
так, и влажны
тени тех лесов, бессчетны
поля и светлы,

тут вот народам топтать,
на трассах птиц год
встречая,
свое безмерное время,

над ним из тьмы
бдишь.

Вдали твое небо: Бобровский будто попал в небесную гравитацию Сарматии, оказавшись под «винительным» и «вокативным» воздействием этого «топоса исчезновения», что в ка-

кой-то степени роднит его с Владимиром Набоковым — с его «потерянным раем» детства в России, — или с Исааком Бабелем, с его грустной симпатией по отношению к исчезающему жизненному укладу в предреволюционной и революционной Малороссии. Кстати, помимо Роберта Вальзера и Германа Зудерманна именно Бабель был одним из истоков уникального стиля прозаических произведений Бобровского.

«Сарматской диалогичностью» проникнуто все творчество Бобровского, представляющее собой, в конечном счете, художественную попытку ответа и ответственности; на этом диалоге основываются все его поэтические проекты — «проект Памяти», «проект Надежды», «проект Пророчества». Это — дифференциальное уравнение, до сих пор не решенное: оно нуждается в том интеграле, каковой мог бы связать его дифференциалы. При этом речь не об одном только политическом логосе-интеграле, но и о поэтическом — по причине того, что национально-культурные и религиозные различия никак не сводимы к «общей знаменательности», являющейся главной целью «сарматской идеи» Бобровского.

Поразительно, что глубинная суть этой идеи в совершенно неожиданной поэтической антропологии Бобровского, которую условно можно именовать «антропологией эсхатологического персонализма». Человековедение Бобровского, отраженное в сложной поэтической динамике его творчества, прямо пропорционально экзистенциальному выводу Достоевского: каждый перед всеми и все перед каждым виновны, но и каждый за всех и все за каждого в ответе.

Однако начинать нужно именно с точки осознания своей исходной вины, преодолевая искушение возложить ее на других и всех. В этом Бобровский близок не только к Достоевскому, но и к философу Э. Левинасу с его этикой «встречи Другого как моей ответственности», и к богослову М. Буберу с его непрекращающимся диалогом с Богом, где мое «Я» живо, если только в нем «Ты» Бога, и к Х. Йонасу с его убеждением, что при всем катастрофизме истории «отчаяние — это смертный грех»... Бобровский близок ко всем, кто, остро переживает свою вину и ответственность за ад истории, но на последней границе мужества он верит, что «Бог понимает» нас:

Мир. Под дождем я
вижу, облако бело. Это я.
По течению Прегеля
лодка плывет. Из тумана. Мир.
Ад, но и в нем Бог не умер.
Мир. Я вторю Санчо:
Бог, вторю: понимает меня.*****

«Сарматский топос» является для Бобровского топосом инициации «антропологического» сценария памяти как воспоминания не только о прошлом, но и о будущем, что связано у Бобровского с миссией пророческого предостережения и со сценарием надежды. Эта надежда не имеет рационального оправдания в его художественном дискурсе, поскольку не только в дискурсе христианской рациональности, но и в целом, в последовательной логике культурного *ratio*, уже *вышел последний срок — для всех*. Именно так начинается последний абзац новеллы Бобровского «Пророк», посвященной символике погибшего Кенигсберга.

Однако в это предостережение автора на поле его судьбы между виной и надеждой пробивается голос Сарматии. Происходит чудо: посреди обезнадеженного пространства обреченного на гибель города с топографией апокалиптического пророчества распознается «топос Надежды», синхронизированный с письмом Бобровского своему другу Максу Хельцеру (январь 1962): *...живя в выжженной пустыне, [...] сохранить поистине эсхатологическую надежду, которая наполняет меня покоем и чувством уверенности...*

^{*)} “Gedanken über meinen Lebenslauf” (1759), www.hamann-kolloquium.de/gedanken

^{**)} философская, не математическая

^{***)} «Сарматская равнина», стр. XX

^{****)} “Widerspiel – Deutsche Lyrik seit 1945” (Darmstadt 1961/München 1962)

^{*****)} сотериология – учение об искуплении

^{*****)} «Прусская элегия», стр. XX

^{*****)} “Zeit aus Schweigen. Johannes Bobrowski – Leben und Werk” (München 2009)

^{*****)} «Гаман», стр. XX

*Утка синяя, нередко
ты ныряешь здесь под волны,
погружаешься под воду!
Собери мне слезы, утка,
из-под ясных вод глубоких!*

«Калевала»
(пер. Э. Киуру и А. Мишина)

ПОСЕЛОК

Пока чужбина
под сурдинку.
Дорогой иду себе.
Внизу за рощей вдалеке
гурт, оваян листвою, облачком
кроплен. Под вечер
песня тягучего тона,
негромкий выкрик
под кустами.

Поселок, от багна и до реки,
убог, ранних зим твоих
свет враний, в ольхах
дорога, заросла, хижины,
нежны, дым и дождь
их красят, ты же
мой бездонный свет,
мой неясный свет,
по краю жизни выписан
узором, ты всё тот же:

Ловчий облик, волшебен,
звероглав,
врисован в кручах
в ущелье, в лед.

ДЕТСТВО

Я иволгу
любил тогда —
звон колокола, над нами
его низы, верхи
сквозь купол зелени,

когда мы на лесной опушке
нанизывали землянику
на стебелек; а мимо
тащил свою тележку
седой еврей.

Пополудни в ольховой
чернолесой тени скотина стала,
щелчками гневной многохвостки
гоняя мух.

Бывало, хлынет из небесных
хлябей бурный слепящий
ливень; всем мраком мира
пахли его капли,
как земля.

Или же парни по тропе
шли с лошадьми вдоль берега,
на глянцевах гнедых их
спинах вскачь смеясь
над глубиной.

А за оградой
сгущались пчелы.
Позже, по шипам и камышам,
серебряная хлопушка
страха.
В живую срастались
изгородь окно и тьма.

Старуха запевала тогда
в своей пахучей келье. Лампа
гудела. Мужчины, входя
внутрь, осаживали псов
через плечо.

Ночь, давно ветвясь в молчанье —
век, всё призрачнее, горше
от строфы к строфе длясь:
детство —
я иволгу любил тогда —

РЫБАЧКИ КУРШСКОЙ КОСЫ

Где лагуна
тускло обняла
отмель, еще под пологом
ночи, в звенящих встали
овсах. Кое-где лодки
видны, вдали.

Пока те шли — у руля
бодрствуют старцы, сном
спутаны сыновья, в руках
тяжесть сетей —,
прошла небо насквозь яркая
полоса и сошла на крыши.
Вверху
углые зовы
трепал ветер.

Был ничтожен улов.
Некогда, говорят, блеском
тысячехвостых сельдей
бухта полнилась, серебро
потухло. Древний
стон дурочки у ручья, —
страхи, синева
стронута грозой.

РЫБАЦКАЯ ГАВАНЬ

Ночью,
пока суда с якоря
не снялись, одно за другим,
люблю тебя.

И до самого утра
люблю тебя вместе с соломой в сарае,
с ветром полей над крышей,
с твоим палисадом у дома,
с лаем собак окрест,
пока не рассвело.

Лицо в рыбьем мареве, в росе,
таким приду: некто,
чьих рук теплота
отдана серебряному литью
ночи. С соленой губой,
таким. Прыжок
в последнюю лодку.

СТАРАЯ ВОЕННАЯ ДОРОГА

И вот он вбок
принял дикой дорогой
корсиканец, кайзер полудня,
взбешенный карла, по насту
в елочках ворон, —
анафемой ввечеру
застигнут. За ним отошавшие
волки влачили шлейф
ночи сквозь топей мглу.

Лишь выголубевшая осень
подкатывает к селу и к облаку,
да. Подобна плачам
прелесь ваша, о, родины тропы.
Песчаные тропы, годами
вы топтаны, да.

Летом, буреломной зимой,
когда мы питались светом,
певшим над кострами,
облокотившись о валуны
тьмы, чтобы увидеть
танец архипелага в Южных морях.

И наша жажда.
Так сердце
твое кладезем стало для
нас, в душистой влаге
берез, в златом, о родина,
папоротнике змеиных
гнезд. И чтобы любить,
сыновья твои в дом
от чужого застолья
тень в глазах приносили. —

Брел
давным-давно Орфей
сам по этому склону,
темен. Понине всюду
звучат стоном его леса.

Ах, певчего дурачит
земля, бессчетны голоса
Эвридики, из бездн,
да, из вод. И она держит нас
на коленях, в дымящихся
жилах, покуда гневом, трепетом
не изольется год.

НА ТЕЛЕГЕ

Ах, Мариамполь, что за луна над тобой! На
пьяльцах соломенных, городок мой,
из-за лачужек
она восходит,
в тяжести, и к нам лицом
клонится вниз. Ни дать ни
взять барышник, взял
для матери шаль с бахромой.

К ночи
поздно
запели двое. Мы плыли
через реку домой,
на пароме с зовом и отзывом
шел разговор, как вода
легок — и слышен был долго
над городом,
вверху на башнях, луна
еврейская слышна. Словно
в заветном уголке сада есть
травка из поцелуев и слёз,
пряжа тонка, девушки,
не порвите.

— — —

Ионяле, приди, не теряй
платка. Твои старики спят.
И снова выпета
ночь нами.

У РЕКИ

Лунной
идешь дорожкой, от Острой Браны
спускаешься, от древней
иконы лоска. В фартуке
руки прячешь. Дорогой
идешь речной.

Блеск вечера, эфемерная
печаль пыли,
среди буреломов вечно
теряющаяся в завитушках стрижей.

Милая,
взгляд твой из тростников.
День напролет я звал тебя.
Наполни мне руки песком,
влажности хочу этой, тяжести.
Теперь-то дышим всё гуще тьмой.

Прислушался ли я к заречью?
К птице или к рыбе придонной
в глубине? — «Мой любимый, вечно
слышен звук прыжка и крыла
в вышине удар. Не оставь меня».

ЛИТОВСКИЙ КОЛОДЕЦ

Дороги мои песчаны, а небо
провисло над ивами.
Сруб, бадья поднята.
Отпой земель.

Час лёта, юла, твоей песне
к изглавью ястреба.
Раз пахарь слышит,
то жнец о тебе позабыл.
Взгляд в упавший дол,
возы расползлись, крик ветра.
Дева полей, мы свет твой.
Пой до побеленья губ.

КЛАДБИЩЕ

Пики и стрелы,
целят в небо, знамена мхов,
рощица,
что сбежала со склона.
Войско. Древнее.
Травой рты полны.

А ведь некогда пето.
Эхо теперь, шелест,
рожок, надколот,
скрежет, хруп. Ступай
теперь, слушай голос
над водой, прост сквозь удары весел
дошедший зов,

тот из лесов,
тот тайный,
тот из зимы, в ответ.

НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ

Тьма, едва последний
затворит врата и подопрет ими небо,
кирпичный карниз,
лошади с задранными
головами, их храп, их гривы,
тени кверху, круты,
блеск, лед огня, вихрь,
внизу, безлунны часы.
Сон для последнего. Сук
царапает стену. Ты, ветер,
приди, еле слышима речь,
в глубине горла, туча,
старой кошкой, урча
котяткам, мрак в дом
манит всё глубже.

Этот встает под окном,
а тот в круглой шляпе
ныряет в леса, упиваясь
рыком собак, судилищами,
неведомыми ему, иневеют
леса, потоки, берега.

Птичья клеть, арф
горечь, зазвеневшие под
крылами прутья, ты, ночь,
бери, втяни же в себя по капле
соль и по капле
свет.

СЛЕД НА ПЕСКЕ

Бледный старик
в выцветшем кафтане.
Пеот к виску, как и прежде. Аарон,
я знал твоё жилище.
Пепел его носишь
ты в башмаках.

Твой брат гнал
тебя с порога. Я сзади
шел. Как обвивались полы
вкруг ног! На песке остался
лишь след.

Позже я тебя
видывал вечерами
вдоль просеки
идушим, с шепотком.
Ладонями белыми ты
разбрасывал семя снега
над крышей риги.

Раз Бог отцов твоих
озаряет годы
наши для нас, Аарон,
и ждёт след
в пыли этих улиц,
тебя я чую.
И иду.
И твой рок
несу я, с надеждой
через плечо.

ЛИТОВСКИЕ ПЕСНИ

Ночью, звероглаза, я
куст, днем я дерево,
вода в полуденной тени,
эта трава на солнце.

А ближе к вечеру
я костел на горе, где любимый
туда-сюда, как белый
жрец, и песни поет.

Сквозь целый
мир ждать его, лунным
лучом у двери быть,
быть у дома во тьме еловой.

Как-нибудь взлечу,
под притчи пеночек провожая
год, когда их сердце,
как град, белым-бело.

САРМАТСКАЯ РАВНИНА

Душа,
во мгле, поздно —
отворил себе жилы
день, и синь —
Равнина поет.

Кто
эту песнь-волну,
кто повторит, к берегу
прибитую, песнь:
море, после штормов,
волну — —

Да, но
им слышно тебя,
вслушивающимся, градам,
светлым и древнего тона
тихим, бережным. Ты
ветрами, как чад тяжкими,
песком на
них легла.

И
селеньям твоим.
Тебе на грудь, греясь,
тропами
узкими, толченым слёз
стеклом, они к пожарищам
солнц твоих припали:
пепельный след,
тут-то стаду идти
нежно, сквозь темень,
дыша. Парнишка
за ним

свища, а по-за
плетнем вслед
ему старая в крик.

— — —

Равнина,
гигантский сон,
гиганта в миражах, неба твоего
даль, звонница,
под сводом жаворонки,
там —

реки у бедер твоих
так, и влажны
тени тех лесов, бессчетны
поля и светлы,

тут вот народам топтать,
на трассах птиц год
встречая,
свое безмерное время,

над ним из тьмы
бдишь. Мне видно тебя:
тяжкая красота
главы, еще скрытой глиной
— не Иштар, имя было другим —,
среди тины болот.

ОТБЛЕСК

Сумерки.
Что твой прибой
пастбища, широкий ток,
глади. Месяц льдист,
неурочен. Удары крыльев.

По берегам потоков,
там,
где далекий их
объял небосклон,
в тенелесье мы
слышали пенье. Предка
дух в заросших ямах чудил.

Сердце птаха, пернатый
камешек на ветру.
Падающий
во мглу. Земля и мхи
тебя приемлют, следы
смерти кратче пути улитки.

А я
кому по душе,
мужчина с невидящим взглядом,
недобрым ртом, с руками
в пустоте, что вышел потоку
вслед, что жаждет,
во время дождя
вдыхает иное время,
которому не вернуться, иное,
скрытное, как облака,
как птах с отверстым крылом,
гневный, на фоне неба,
отблеск, неумолим.

ПРУССКАЯ ЭЛЕГИЯ

Дать
бы песню тебе,
свет гневной любви —
и он же мрак, горечи
жалоб полон, как дерн
лугов влажен, как нищие
сосны склонов, кряхтя
под тусклым ветром зари,
под вечер сгорая —

никем не воспетый
твой закат, что некогда
кровь нам пьянил, когда
дни осенены были детским
тем раем, из снов далеких —

тогда-то в дремучих лесах
среди пенных валов
зеленого моря, где трепет
охватывал нас над
жертвенниками дубрав
священных, вблизи
курганов спящих, во мху
городищ, под скрученной
старостью липой, ах —

как шепоты в ветвях висли!
Так в песне старух поныне
звучит,
пускай и невнятно,
зов правремени —
пред нами остается
тлетворный, безрадостный
осколок эха!

Так колокол,
треснув, разбрасывает свои

колокольцы — —
Племя
тяжелых чашоб,
черно напирających рек,
нищих лагун, моря!
Племя
ночных охот,
табунов на выпасах летних!
Племя
Перкуна и Поклуса,
Потримпа в нимбе колосьев!
Племя,
как никакое другое,
утехи! как никакое, смерти —

Племя
затлевших дубрав,
запылавших хижин, потоптанных
всходов, рек обгаренных —
племя,
пылу мечей принесенное
в жертву; твой вопль укрыт в саван
облаком пламени —
племя,
хрипящий твой танец
у подошв матери чуждого
бога —
пред дружиной своей
стальной она ступала, воспаряя
над лесом! во имя сына шли
виселицы вслед! — —

Ты звучишь в именах,
разбитое племя, в отрогах,
оврагах, реках, тускнея,
в вегах и шляхах —

песни да сказы ввечеру,
ящеричные хвосты тебя помнят
и, падью сырой, поутру

напев, в причитаниях
наг —
наг, как бредень у рыбаков,
белоголовых, вставших
навечно в залив, на
закате.

СТРАСТИ ПО ЯННУ

Голоса, яры,
над тыквенным полем,
путь словно белый дым,
около полдня неистовы
подсолнухов головы,
но голос, чей-то
голос, рваной
равен губе, запекшейся крови,
дыхание листьев, изгиб,
шуршание, слышно:
приди же, ладонь-невеличка,
алмаз, мой горяяд, ну приди,
пока живу люблю, зеленые
пальцы вновь чую, белые
корни, всё глубже, белые
топят сердце в вине.

Раз,
веселясь, боги над
пеклом кричали
красивыми голосами:
вниз головой его,
утес пускай вращает ему в рот.

ВИЙОН

Ты, расчертивший Турень
на квадраты: брусчатка
больших городов
еще помнит шаги, ты
не вернешься.

Нож
месяца, криво,
от деревьев и башен
заведомо длинные тени.
Идет кто-то, свищет.
Его обвивает летучим
облачком — паутиной хитона —
бог воровства, греческий, то есть.

Эй, тонзура, поправь шляпу!
Твой портрет в смертоносном зеркале
любого пруда! Ветер с севера
кроет гнездо рыбака:
в тех стенах, под отвесной
крышей, во мглах,
будешь спать, а мужчины
утром с лова вернутся, питье на печи
поставленное почато,
а на сковороде мученье немое,
конвульсии, масло,
рыба моря. — «Здесь буду спать».

ГЮНДЕРОДЕ

Вздых земли
первомира, звездный
час предков, юла солнц
над хороводом племен,
когда юг
шипит, охряная птица,
в распадке.

Что ж,
канцона,
она на твоём стальном
кинжале, подруга. В бризах
над берегом теперь
голоса птиц.
Впрочем
мы видим тебя
в расцвете, мужественной
богиней, под деревом,
властную, в ветвях
голова. Мечтательно руки
стиснули сон.

АЛЕКСИС КИВИ

Леса Карелии ты сочти, на всех
сечах Суоми поспи, над озерами
лети, петушок, золотой
с пером разбойничьего отлива.

А то дуй со мной,
мы пойдем парнишку найдем,
в селе на глухой версте портняжкина сына, в город
он идет, стены из камня увидеть, по валам
побродить, как ласточка
алчный, цепким взором
тянется на тревожный зов.

В корчме ли он поет?
И жуткую поет ли
песнь Куллерво: Ты ж, цыпочка, сестра —?
Он ли в диких песках смеется?

Ты ж, дремучая краса, поделена меж семью
братьями. Небо, раскрытое
небо бьет свысока. В блеске
леса стоят.

Грянет буря вот-вот, обовьет руками
усталую голову, на стену хижины
ляжет, вырвет мох из пазов, впишет
в воздух наискось одно имя.

Над озерами
полетал, золотой гребешок,
над болотами,
и спишь на горячем камне.
Сердце ржаного народца, чудная нива,
звучит, в усадьбе Юкола
дожди зацветают.

ДЖОЗЕФ КОНРАД

Линии,
над миражами,
эскиз, тусклые горы. Штрих
белил. Там
стихает прилив. Берега
блеск воспаленно-зелен.

И ветер
бьется, прыжком под купол
из света, цвета свинца. Корабль
однако на месте. Я рядом. В моих легких
нескончаемая даль.
И скажи мне имя,
корабль.

Помню, вечером ясным,
словно ястреб в горах под Черниговом,
смотрел я, белоцветные
штетлы, спетые Днестром,
слушал я, я вызвал поляка
плотника. Там,
сказал я, корабли черны.
Это позабылось.

Небеса над нами, даль
сходит к парусам, темнея.
И, в глубине, пересекших
моря и проливы мужчин
пылкая верность.

ДИЛАН ТОМАС

Марлайс, клоун,
поджав губы,
смакует воздух. От Огайо
тот поднялся. И Миссури
здесь. Застарелого молчанья
могучий рокот.

Время, свитое ветром,
стены из света. Ариадна —
ее пред рассветом выписанное лицо,
знаки, летучих мышей
танец, — лабиринт.

Лишь в уголку глаза
гнездо,
серо, кусты на берегу, неустанно
текущий голос
Суонси,
утопленник корабел,
что путем тумана идет.

Марлайс,
за ним, лаской ресниц,
за гневным ласточкиным крылом,
пока поток
не взревел, вода не плещет под
стены, твой Вавилон не залит, спутанные
речи, ор, лишь в самом конце
с башенки шепот.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Песня пастушья
длинна
и на волне крови,
он узнает тебя:
он поднимается, лебедь-кликун,
желтоклюв,
за ледоходом
вслед. Голос идет темно,
пастухи навстречу,
на мшаниках березовые
ветра. Чуть слышной
речь была наша,
пламя,
упавшее в ночь.

Реки, мы в чем-то
с вами едины будем в год
провевающийся, на ручьях июля,
слушая: лебедь-кликун улетает,
и звучит о полку Игорева
та печальная песнь,
спетая на башнях
в белом,
вздыхающем небе.

ВЕТРЯК

Свет,
вспененный свет,
над равниной, круг,
слепающий утес, шорох из
преисподней, близятся бури,
молниедышащие чудовища, уступ
взбирается в небо.

Из дюн, от
моря,
безлесным аллювием
я тогда вышел,
без сна, без тени я шел
со жнецами, стояла мельница,
стара и жестка. Серым
крылом ловила воздух.
Без звука высилась над страной.

С цаплями улетает
она, крепка под белыми
небесами. Издалека ее
взглядом диким
слепит зима.

В шепоте крови,
в дупле гнездо свое
строй из кости и плавника,
зимородок-сердце.

У детей равнины, ее дочерей и сынов,
останься, в крохотной тени
из песен и танцев, выставь
ноябрьский стебелек
против снегов.

ПРОСЕЛОК

Беззлобно лето:
оно правит реками —
легко, жарко:
вкруг распускаются розы.
Скифские морозы близки,
огнисты, в груди
у них камень, черен-горюч.

От тех,
без конца-края
небес он явится,
вслед кобылице, оратай,
а над березой Рязани,
ветвась, грозы
встали высоко, дрожащий
берег он видит, и дальней
равнины труск.

Заоблачный оратай
на Руси вырезной, Микула,
ты жаром уст явись
ко питию, петь станем песню,
не выпоем ничего, кроме ветра.
Пока раз как-то голос
к ночи, Чаадаева голос,
не взорвется отчаяньем,
что птичий крик.

Пути:
подкова,
колесо,
трава
да еще пыль —

лик земли сей,
ввергнут в глубины речные,
в песок,
несомый потоком.
Ко мне в сердце. Больше
ему не всплыть.

ЦЕРКОВЬ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»

Превыше стен
камень, превыше арок
купола ветра, заподлицо
сбиты с небом, давним,
что идет на паромах и плотах,
что вечерню поет
нам, пчелиный дым разом с ним, дурман
малиновый, к ночи —

когда владыка полей,
лупоглаз, седовлас,
застывает, яшень, тонкие кисти
вытянув, легко,
как облако, листорук,
ловит горький дух
болот и к бороде
правит брашно.

НА ТАВРИЧЕСКОЙ ДОРОГЕ

В этот вечер: вода —
на ветру, нас несет
она над глубию —
а то четверть ночи
пройдет путем перепелиного
бега, с крылом дрожащим —

Помню,
краем степи мы
шли с огуречных полей,
при дороге лежали
верблюды. Один
поднялся, большеок,
древней стати, глядя в раздолье великих
зверей, в далеком мареве Каспия.
А дальше Энкиду:

что выступил
от водопоя газелей,
мрачен лицом. Я был рожден в степях,
молвил, биться стану
в лесах кедра.

ПЕЙЗАЖ С ПТИЦАМИ

Старой, нескошенной
травы равнина, все холмы
утонули. Озеро
бело, протянуто за горизонт.
Оттуда журавль. Высок.
Выше света. За собственной
тенью вслед.

А голос еще
как лес и полон зеленою
сенью, влажен, к возвращенью
вод. Жаворонок, разбит
камень, откуда ты пел
утро за утром
шатрам из шкур. Один лишь
слышал тебя, пробуждаясь,
Чингисхан
слышал тебя.

Однажды, вечность
проспав, замурованы, своды
развалив, семеро мужей
вышли к свету. Оброс
древесиной я, с жестокой
корой, как сном, в ветвях
наверху ворон
вычесывает перо. Ты, древо,
дрожащее, после ударов
зимы, сердца моего, но
твоей не разорваться коре.
Словно снегом всё
завеялось
раз,
когда ворон махнул крылом.

ИЛЬМЕНЬ-ОЗЕРО 1941

Глушь. Наветренная.
Застыла. В песке
увязнувшая река.
Обуглены сучья:
село у лесной плешины. Тогда
видишь озеро —

— Днями озеро. Световое.
Заросший травой шрам
и остов башни,
бел, как кости, разлученные
со своим камнем. В решетке
крыши вороний грай.

— Ночами озеро. Перелесок.
Оступаются стволы
в болото. Старый волк,
жируя на пепелище,
застигнут внезапной тенью.

— Годами озеро. Медяный
прилив. Вод нарастающий
сумрак. У этих небес он
стребует
как-нибудь птичью рать.

Ты видел парус? Огонь
встал вдали. Подбирался
волк к плешине.
Он слушал зимние звоны,
он выл на чудовищную
тучу снега.

НА РОДИНЕ ШАГАЛА

Там дышат окна
сухим лесов ароматом,
запахом мха и голубики.
Витебск объяввшее
облако-вечер, от сумрачности
звучащее. Спугнутый скрыт
в нем смех, будто предок
в день свадьбы
глазел бы с крыши.

Парили мы в сновиденьях.
И вдруг надежное нечто
обошло вокруг созвездий отцов наших,
ангелом, с дрожащим ртом и бородой,
с крылами из нив пшеничных:

Близость грядущего, этот
пламенный звук рога,
чуть стемнеет, город
плывет сквозь облако,
ал.

ЛАТЫШСКИЕ ПЕСНИ

Ястреб отец мой.
Волк мой дед.
И прожорливая рыба в море мой прадед.

Я, недоросль, шут,
вдоль заборов рыща,
корявой лапой
рвя шею ягненка с первым лучом. Я,

что бивал зверье
вместо чистых
господ, тащусь в грязи за
трешоткой ряженных,

под взглядами чернооких
женщин иду. Вот
на белом берегу вижу Икскюля, хозяина.
Он освещен луной.

Тьма перекликается с ним.

ЗАПАДНАЯ ДВИНА

Двина, твое утро
бесконечно и царственен
ветер равнин. Древен
в пелене город.

Твой берег студен. Кусты,
зелен мазок. Твоих ласточек
стрелы в молоко
кверху.

Я
усталый
являюсь и в
пески упадаю.
Я хочу жить дыханием
реки, пить из
криницы, земное пить,
ночное, из тайны в глубине
под корнями.

В огне дня хочу жить
я, пламя и пламя делить,
чтобы видеть: Год в рост
и ты, тяжелым устьем
темна — чаек
брызги и воды вверх,
с криком тебя вбирает море —
ты ему навстречу.
Средь теней к тебе,
со дна
древние жабры
вздыхают.

КАУНАС 1941

Город,
клубок ветвей над рекой,
рыж, что утварь к празднику. Берега из глубины
взывают. Хромая девица
являлась перед рассветом,
подол ее сумрачно ал.

И я узнаю ступени,
этот склон, этот дом. Здесь нет
огня. Под крышей
еврейка живет, в еврейской живет немоте,
шепотом, бела вода
дочериных лиц. Шаг
гулок катов у ворот. Мягко
ступаем мы, в кровочад, в волчий след.

Вечерами смотрели
мы на каменистый дол. Коршун облетал
просторный купол.
Видели город, древний, клубки домов
до самой реки.

Взойдешь ли ты на этот
холм? Серые караваны
— старики и иной раз подростки —
там ждет смерть. Идут
хребтом, перед скалящимися волками.

Брат, отворотился от тебя
я? У залитых кровью стен
сбил с ног сон. Теперь-то мы
ушли далеко, ко всему
слепы. Где в дубовом лесу
с цыганскими глазами деревни, овеяны снегом
лета коньки крыш.

В низкую дождеросль
выйду к набережному камню,
вслушаюсь в морок равнины. Здесь ласточки реяли
над рекой и ночь была
зелена, вяхирь кричал:
Мой сумрак уже сгустился.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Скамья, скудная мебель.
Там, спрятанные в соснах,
качели — доска, два шкуренных
пня. Здесь нередки кукушка,
синеврюха и хохлач,
соловушка, вернее, соловей,
суше, лаконичнее,
злее, дай-то бог.

Но я-то здесь ради сна
в стенах бревенчатых,
сна с нитью паука и златом жабы,
беглоногого сна. И так
меркнет свет. Небрежно свои тени
топчут коровы. Рыба
некий пенящийся знак
ведет по водам.

Но я-то лишь сплю.
Меня ведь нет.
Мне бы найти место,
не шире могилы, лишь холм
над лугами. Оттуда
я смогу видеть
реку.

ПЛАМЯ И СНЕГ

Пламя,
стволы березы
горят, из волны почерневшей,
из облаков
чад
выбивает огонь,
дикий пляс огня, наважденье
трогает кожу, наважденье
огонь —

В море
есть дорога, огромное
око зверя, вплачь и вплавь
близко, зелень ресниц
над соленой скулой,
стынь, наважденье
стынь —

Оба
юнец и юница,
наважденье огонь, наважденье
стынь, пляска
над тучами, стынут
соль или снег, юноша
на рассвете, он
в изнеможенье своем прекрасен,
соткана голова из
теней.
В моем дыханье,
пламя и снег, так живу.
Такова в пламени ты,
такова
ты завтра в снегу.

ПОБЕРЕЖЬЕ

Что там еще
в зыбучих
песках и плавниках
царь-рыбы, тощая зелень
водорослей, полипы,
растающие в луну,
утром, когда та тонет,

словно слово, скрытое,
но выслушанное в полости рта,
во взрыве висков,
в волосах. Правим к берегу,
с голубыми руками любви,
белы.

Приди,
холодно, пусть
слышит солома, потолок
над нашим вздохом, скрип
деревянных стен. Сон, шепот,
возлягут с нами.

ОДНАЖДЫ

Однажды мы
наполним светом ладони —
созвучия ночи, спугнутая вода
вновь ударят в кромку
берега, грубый, безглазый
сон зверей в камыше
после объятий — потом
мы встанем у самого
склона, у самых белых
небес, чей над
холмами
холод, каскад блеска,
тверже чем лед,
упавший со звезд.

Хочу на виске я
твоим приутлиться
кратко, кротко, пусть
молча кровь моя
твоим сердцем течет.

МЕМЕЛЬ-РЕКА

По-за полями, там,
по-за лугами
поток.
Растворена его
дыханьем ночь.
Птица бьется
над горой и кричит.

Помню, как ветер
вел нас забросить сеть
в низовье лугового ручья.
В осинах
висел фонарь. Старик
снял его. Лодка
контрабандистов ткнулась в песок.

Из сумерек ты
течешь, поток мой,
из облаков.
Пути входят в тебя
и реки, Юра и Митува,
свежие, лесные, и глиннотяжкая
Шешупе. Шестами плотогоны
знай правят. Паром
на песке лежит.
И небо птичьи
затмевают армады.
В смятенном крыльев вихре, высоко, звук
тростника, дым колодца, дух лесов смоляной.
Теперь у березок, вдоль берегов
женщины встали, в лентах,
желтых и алых — одни
к лепным телам своим
дочек прижали, тех сыны
плещутся в токе вод.

Лишь
одному, вдали
дано тебя любить
мне.
Лик из молчанья.
Клинопись векам: мой крик.
Он не спас тебя.
Ныне во тьме
я тебя удержу.

ДАУБАС

Вверху ветряный набат.
Мы жили на реке в хижинах.
Чернея, встречь берегу
звучал камыш.

Мы были дети сердцем,
что пело из весны в осень.
Ничем иным как землей
казались дождь и мороз,
зарница и гром, временем —

временем,
что мы брали
и выпускали из своих рук,
красным от плодов. Зимы
текли на свет.

И это в прошлом.
Мы отдали деревни пескам.
Чуть оклики с плотов,
отступали.

Горечью ведомы, кладем
мы дрова к очагам чужбины,
всё еще помним: рас-
цветали яблони.

Так где
нам окончить дни?
Всегда это лишь земля,
дерн, под него мы и ляжем.
Не найти
детям деревни.

Впрочем сады, штрих осоки
у берега — в ущелье Даубас —
желтевшие сараи —
тот воз, что полз сквозь опушку —
коршун в пустой синеве —

нас всё еще берет дрожь.
Пора нам вступать под арку
этих лет. Уступить
земле радости наши. —
Под удары крови в висках,
по волосам дочек глядя, ты
вечером скажешь: Ты всё
еще, любимая, есть — и
я не тоскую.

ЗИМНИЙ СВЕТ

Этой ночью
я слушаю вас, далекие реки,
ваш первый лед,
долго. Тонкий тон той
флейты ловлю; поселок
спит.

Детство, смугло, студено
песчано, колодезно —
раз за разом срывалась
вниз бадья. Кто шел?
снял ее с рыжей цепи?
кто же пил?

Хибар наших чинность
темноречива, их мягкое
заснежено слово,
кумушек шепот и детский крик —

Время сиреневым
было, пока в небе тягучем
птицы висели, в меркнушем
блеске; небо
недвижно,
стоя над крышей амбара, из
вымолчанных небом теней.

Кончалось все зимами.
На голубином крыле
синева спускалась, вторая

крыша, блистая над
миром в тиши.
И брел крик ловчего
вверх по склону, в молчащий
снег. Глубь черноты,
о! твое сердце
из света!

*Память рассыпается
до самых кончиков
твоих пальцев*

Макс Хёльпер

РАВНИНА

О.

Озеро.

Зыбучие

берега. Под облаками

журавль. Белый, осиявший

пастушьих народов

тысячелетия. С ветром

взошел я на эту гору.

Здесь стану жить. Ловчим

был я, но полонила

меня трава.

Учи меня говорить, трава,

учи мертвым быть и слушать,

долго, и говорить, камень,

учи ты меня оставаться, вода, не

спрашивая, и ветер, не спрашивая.

ДВА ОКЛИКА

Над широким склоном —
луг, изгороди, над столбами
изгородей — я был тем ветром
и нескончаемой речью
там, внизу по течению, я
стал стеблепалым, я был
беззвучен, я лег
в траве с разверстым виском,
сверчки заплетали мой
волос.

Единственный, кто
принимает меня, так
вот, он пролетел над ветрами, он
вслушивался в речь
прибрежных песков, где
холод сжигает, твой
заиндевел зрачок, цветка
молчаливый лед, слезинка
в полдень.

Он
слышал меня. Я не видел
мужчины, бросавшего
уду на глубину, белье
стирали женщины с лодки,
на набережную вышли
другие, с лошадьми, в дыму,

над изгородью вдруг
сплелись два оклика, один
звуком светел, а ответ
глубок, но призрачен во
тьме на ветру.

ЛЕТНИЕ КРИКИ

Чиbis,
кроткие
твои рожки, морщинистый
лоб дня моего
облети, пьянокрылый
над выгонами ты
пари, в распадок
ныряя.

Ширь, не выплыть,
плоть, выдохнуть, я с
поднятыми встал руками, я
переждал, я зацепил облако, я
крикнул, слышу, даль —

где я стоял с поднятыми
руками, тронул
я облако.

СОКРЫТОЕ

Тяж,
прорастаю вниз,
корни
распускаю в почве,
грунтовые воды
ищут меня, близки,
я пробую горечь – ты
беспочвенен,
ты птица струй, на свету
делаясь легче,
одним моим страхом
держишься
на рыхлом ветру.

РАССКАЗ

Бел песок, следы,
бирюза, и летучий лес
сумрака, идет стальная рыба
деревьями высоко,
над кронами, я лишь
сделаю раз шаг,
потом два шаг.

А в Китеже
есть башни
да и дорога,
я на ней,

разглядываю тебя слепо,
к тебе подступаю
неслышно,
с тобой говорю,
безголос.

СТРАННИК

Вечер,
река поет,
трудное дыханье лесов,
небо, истерто
орущими птицами, отмели
тьмы, древни,
над ними зарева звезд.

Жил, как люди живут,
не было счета воротам,
мне открытым. А в закрытые
я постучался.

Иди в любую дверь.
Зовущий ждет, распростерты
объятия. Садись к столу.
Рекомое: леса поют,
выдох и вдох реки
пересекаемы рыбами, небеса в
заревах дрожат.

ЗИМНИЕ КРИКИ

Ворон, ворон,
зелень льда, ворон
над рекой. Растянувшись
по берегу, кустарник
цепенеет.
Снег, не искрист,
хоть тронут твоим крылом,
птица, кустоптица, зато
кровинка сердце
твое
среди льда, зов твой
тающий дым над
нерингой,

где устали не знали
объятия, вечно
жила река.

ГАМАН

Это
есть мир,
пути, дороги, скоро
Васянский заявится, а кто
у нас тут житописатель,
а кто пиит во вкусе Грекура,
от Лицентграбен до
Кацбаха всё, что знаю, мир.

За полночь, но поет
в с избытком обкорнанных
деревьях птица,
целое лето эта птица,
не будит малыша
моего, но я — пожалуй я-то
пойду, я ловлю силками
блуждающие огни в
лугах по-за рвом.

Мир. Под дождем я
вижу, облако бело. Это я.
По течению Прегеля
лодка плывет. Из тумана. Мир.
Ад, но и в нем Бог не умер.
Мир. Я вторю Санчо:
Бог, вторю: понимает меня.

СТАРЫЙ ДВОР В ВИЛЬНЕ

На дверном
пороге отец упал, ступени
вверх нашел, на крылечке
деревянном
он сел под карнизом, он
спел на пороге молчания.
Кто слышал его?
Был вечер.

В Вилейку
склоны
упали. Из песка.
Внизу, за заборами
берега цветут.
Мимо проносят сумрак
ласточки
на узких крыльях.

Путь,
ах путь,
иди вверх.
Мимо тех сосен. Ты
не оглядывайся, в реке
захлебнулись тени.
Небеса у нас,
вода,
надетая на виски. Ласточка,
ты стираешь след, дорожный,
в песках. И вечер.

БУЗИННЫЙ ЦВЕТ

А вот
Бабель, Исаак.
И он: в моем детстве,
моему голубю
при погроме
они оторвали голову.

Деревянная улочка, над
заборами цвет бузинный.
Добела выскоблен порог,
пара приступочек —
был, послушай,
след крови.

Вот, скажете вы: забыть —
А ведь явятся молодые люди,
их смех словно кусты бузины.
Вы знаете, бузина-таки
мертва
забывчивостью вашей.

ХАСИД БАРКАН

Мы пели, ты пришел,
молитву творишь, на ласточек
глядя. Мы слушали старцев
в полуденный час,
их проклятья и шепоты.

Из-за горы
ты пришел. Ведь так ваши
мужи шли, обросшие,
будто железом бород
именами, однако
летуч локон да отчаянны
ноги в танце, неопалимая
в них купина, в них реки
(на ветви ив повешены арфы).

Задержишься. Время
придет, твои пути полюбит,
ближе станет глубокой
тьме над лесами и реками,
сеявшие со слезами
пожнут с радостью.

ПАМЯТКА

Тех лет
паучьи нити,
жирные пауки, тех лет —
месило цыганское время
копытами глину. Пожилой цыган
поводил кнутом, женщины
встав у ворот, трепались,
держа ковшом ладони
с горсткой счастья.

Позже время их стерло.
Привело вурдалаков с глухими
глазами. Помню, старуха
чердачница
допытывалась, куда ж делись те.

Слушай ливень над
косогором, идут,
невидимые никем,
месяц вечную глину,
окутанные мириадами
брызг, чуждого ветра гребни
в черных прядях,
легки.

ПРИМЕТЫ НЕНАСТЬЯ

Вниз по течению,
лугами-рекой
и в бродячих ароматах
лесов, открыто
взывая к летнему свету

или к птицам
на закате, а в сумерках
к нетопырям — на бредущем
они пикировали
на сарай на драконьих
крылышках — взывая
пришел я сюда, я здесь,

на круче песчаной, в сухой
мох ставлю я ногу, неба
простор я принес,
разгульные струи, шатаюсь,
ударило, в гудящую
вслушиваюсь темноту,

слушаю реку, легла
на песок, в поводыри
взяла она ветер,
лето в полном

изнеможении, глаза
крови полны, раздерган
висок, рот в ржавчине,
но в поводыри взято
моей рекой, навстречу
огням в тени рыб,
в тени камыша идущей,
в тени деревьев —

пламя, вперед, берег
уходит вглубь суши,
тих, овеванный дюнами,
вкруг забытого моря
тонут камни — огонь,
вперед, отдайся как дым
натиску, он вынесет из бури
тебя, из бешеной тишины,

пока не лопнет небо,
не закипит буря, порвутся
струи воздуха, застынет
река на песке

и помертвеет круча,
я схватил дерево, взываю:
Мы примечали приход
и уход знамений, тишина
отдала нам два пера.

НЕНИЯ

Голоса, ветер
идет над
бухтой, регистры, так настроен
был Эльсинор: над Зундом
берег, в небо
упирающийся, там
над пропастью тот,
что призвал меня,
Гелиос, широкогуб,
меж дуг надбровных
провал — огонь вокруг него
вкруг плеч и волос огонь, гремучий
парад планет: кипуча,
убийственна
гармония миров.
Над бухтой,
вдаль,
над хмурыми
хмарями семицветится
радуга — и нам
обещан покой.

МАРИНА

Крик
чаек, будь с нами,
когда падет солнце —
милое нам, и ласточки
уже не вернуться.
Глубок, бит градом, стар
зим этих
век.

Так ты со мной,
друг, ведущий тихие речи,
чьи руки
легки? — мы слышали ветер
и сумерки, водой
утолил я жажду.

Под
горящим парусом,
скоро, лечу, справа Страж,
Лебедь в головах, —
штиль, ночь, лечу,
тенеvidен.

ГЕЛЬДЕРЛИН В ТЮБИНГИНЕ

Деревья рыхлы, и свет,
державший судно, уже пора,
сушат весла, вот прекрасный изгиб,
перед этой дверью
шла тень, а теперь
она падает в реку
Неккар, он зелен, Неккар,
кланяющийся
нивам и ивам прибрежья.

Башня,
да будет она
обжита как день, ее стен
тяжесть, ее тяжесть
против зелени,
вода и деревья, взвесь-ка
их на одной руке:
звук колокола с крыш
соскальзывает, часы
готовы к повороту
знамен железных.

ХОЛМ ЮДЕНБЕРГ

Паучьи туры,
белы, рыжим песком
пылила земля — лес,
космат, зверокрики
били ему в лицо, а травы
в виски кололи.

Когда филины, поздно,
уханьем ста ночей, сквозь
дрему гнезд трассируют,
он вырастает в чаше
сверчковой, на бледную
глядя дорожку луны, к липе
вздохов идущую, к старице, вросшей
в косы своих корней.

Его взгляд над обрывом.
Вдруг, смутно, плеснуло
свечением, между
ударами сердца вырвались
рогатые лопасти из сумерек,
лохматая, в слезах голова.

Вжатое под ладони
время, безымянно: желтые
рои, куррау вслед
шедшие, облако певчее
над морем, пчелы вслед
за благочестивым отцом,
он вёсел коснулся, он рёк:
Окончу дни в зеленой долине.

О РЕКАХ

*Ужель морей тех не было довольно,
ужель земель тех не было довольно,
где колеи тянулись наших лет...*
Сен-Жон Перс (пер. Н. Стрижевской)

Процежено
сквозь зубы и когти, от рек
вспять возвратилось озеро, зыбь,
берега, эти леса из воздушной дрожи –
распрявился
в морщинистой шкуре
высокий дол, бронзовея
рубцами, обрывами – здесь
время облаком встало,
большим, шагнуло
за небо и чистый воздух
пьет, дышит
дождями света.

Острова, ты же знаешь,
они выше вод, выше
далей, там, где ты родился,
смущенно, там, где ты родился,
в то время, что птицей
было, оперено в цвета
бессчетные от
розы до охры, таковы
птицы, ты знаешь.

Всё же ты вышел к равнине,
горы насквозь
вытоптал вместе с шерпами, вышел
ко сну, к равнине, которая
очнулась под белыми
вёками, навстречу гимну

изумрудного зверя, жителя
летучих лесов, что
крыльев своих не знал.

Там

живи, идут глаза
твои за море, ручеек,
бел, даже в темноте
бел, сдержан, плотно
укрыт под сердцем,
речив, сумерки, из
голосов парус, ставлен
парнями рыжеволосыми, в
рубашках из перьев, под вечер,

по ветру.

ГЕРТРУД КОЛЬМАР

Бук, кровоточит листва,
дымящаяся глубь, горька
тень, вверху над нами врата
сорочьего крика.

Туда она ушла,
глазурь волос, девочка,
равнина подглядывала за
ней из-под век, в болотах
рассосался шаг.

Умрет, но не сдастся
мрачное время, в обход
идет моя речь и окислена
кровью.

А выпадет тебя помянуть:
пред буком я встал бы,
велел бы я грозно сороке:
молчи, близко те, кто здесь
был — если выпадет:
Мы не будем мертвы, мы будем
опоясаны башнями?

НЕЛЛИ САКС

*Лисицы имеют норы, и птицы
небесные — гнезда...*

Норы, лесное зверье
льнет к устью,
и тот, что сожжен и сплавлен
был, истукан Перун,
теперь и он
ушел в землю, под
Днепр, и ныне слово его
изрыгает река: Придите
от разбитых древес, вы звери,
придите, у лис есть норы.

Тот небо несущий,
над башнями
света он встал, для него
это дерево, помет
его крылом осенен, тени
его питают и дождь, у птиц,
у быстрых сердец,
есть гнезда.

(Вверх, озарением, взмыл
орел, в когтях его
плачущий соловей, над
пожарищем рыдали ласточки —
вот обитатель норы
упал на землю, песок
отряхнул с висков,
жрали корни
слух и облик.)

Имеющий, где голову
приклонить,
он уснет, будет слышать
в грезе крик, окруживший
равнину, кружа над
водами — вот стал свет, разбил
два холма, видны резко
тропа, камни, берег,
зелень блеска — крик
беззвучен, «одуванчик,
но окрылен молитвой».

ДОН

Вверх, огонь метит
селенья. Над ущельем
рушатся берега. Но
стреножен поток, дышит
льдами, тишь мрачно
следит за ним.

Бел был поток. Высокий же
берег темен. Лошади
одолевали склон. Помню,
берега вверху
разошлись, явились
по-за полями, в дали,
под юным месяцем, стены
в ладонях неба.

Там
див поет,
в башне,
там выкликает облако, из беды
сотканной птицей, кричит
над брегами ущелья,
равнинам наказ дает слушать.
Холмы, откройтесь, велит,
встать во всеоружии,
мертвые, сомкнуть строй.

ИКОНА

Вежи, дугой, в кресты
одетые, рдея. Тьма
дышит в небе, Иоанн
стоит на кургане, но взят
город рекой. Он зрит
морем влекомые бревна,
весла, шелуди
рыбьи, на мель
сам себя бросивший лес.
Три под килем
аршина князю, он шьет
факелами с обеих рук, он льет
тишину огня
на долины и доли.

ЗАБРОШЕННЫЙ КРАЙ

Над рынком,
пустым, на крыльях куриных
ветер
в пыли оставляет след.

Заборы. Косо тонут
кресты. Галочий голос.
Кто там идет, доску неся на плече,
кто хочет новый карниз
для окна работать, кто там
зашел, сизый горшок
под накинутой шалью?

Здесь некому ходить. Небо
находит кольцо
и поднимает с земли,
стены домов порастают
мхом, туман облетает
белую башню, так откуда
же ты пришел?

Над проволочными
костями пастбищ, над
лугами в хлябях, вода следит
за тобой, черным заливая твой след.

ПОД КАЙМОЙ НОЧИ

Под каймой ночи маленькие
города на ветру, из крыш
спутанных, стен ветхих,
башен. Тонущие в просторе.

Шатры, тают на фоне неба,
на фоне мертвеющих голосов,
дранных ртов колокольных
сиры и от старости мерзнут.

И равнина идет
их улицами, на площадях
медля над колодцами
и у дверей нараспашку.

А ночью: уплывают по
течению вниз, жесткой
мачтовой порослью,
сырые, рябые, корявые
флаги. Я шел

под каймой ночи, за ней
ежилась, пока лес не
привстал, деревня, цыганке
подобна, темной, что в сумерках
встряхивала сковородку
над сыпучим огнем, а дым
завивал ей локон.

СЕВЕРНОРУССКИЙ ГОРОД

(Пустошка 1941)

Глухо
при дороге на север
обрушились стены. Вот мост,
старое берно,
в речной чапыге.

Здесь жив поток,
в щебне бел, по-над песком
слеп. И в крике воронья
звучит твое имя: ветер
в решетке крыш, дымы
на ночь глядя.
Идет,
тучи подсветив
изнутри, за ветром следит,
высматривает пожары.

Разлит вдали
по равнине,
огнь. Живущие
по лесам, на реках, в берном
счастье деревни, ночью,
слушают, ухо
к земле прижав.

ПЕРЕМЕНА МЕСТ

Им не узнать, где мы были,
мутные взгляды собачьи
отметили наш бег
к ограде, черен дом и земля
холмиста валдайская у истоков
Волги, дом и стена,
вылинял портрет:

Толстой, стар, на бревнах
деревянного полустанка улеся,
мужицкие руки,
ужасающи, но излишне изящны
для щебета в звездном чертоге,

где тень ускользает мимо
по оврадам — я не знаю
этих могил, но он вышел
из склепа, уверен,
я склоняюсь к свету, что горы
атакует с лютостью неба —
птичьи стаи, их ор
оттуда, надо мной, и
туда вдаль — я стоял над
мусорными потоками,
слушал вздохи песка,
я был деревянной тенью,
обитой железом, завернутой
в падающий свет.

РЫБАЧЬИ ПОСЕЛКИ В СУМЕРКАХ

Над,
над озером,
в сумерках белых, без края,
над озером веет птица,
над пльвунами глубин,
над течением.

О сумрак, твой заячий плач,
пернатая слышала, видела
твою черноту, пьяный силуэт,
над берегом, коромысло
на фоне неба.

С пламенным зовом, небо,
древнее, в огненной тяжести,
дробящее в щебне
камень, бьющее птичью
зыбкую тень на песке.

БАЗИЛИКА 1941

Да, это она
над зимней рекой,
над водами лопнувшей
черноты, София, явилась нам,
гул сердца мрачного Новгорода —

был мрак этот изначален.
Хотя пенящиеся, радостные
дельфины проплывали,
принося время, сады
жгли щеки тебе, бывало
за оградой паломник
жар лица окунал
в золотые выкрики твоих куполов.

В ночи твоей, в пропасти лунной,
бледной как мертвец, на
ледяном гнездовье сиял
зимородок.

Дым вычернил тебе
стены, сбил твои двери с петель
огонь, что знает
свет о глазницах твоих окон?
Все-то на век наш
пришлось, и крик
как молчанье, явился нам
реющий над ровенью,
белый, твой лик.

В тот раз
на болотах,
окрест, взошел
и гнев.
Гнев, тяжелое семя.
Смогу ли еще
вызвать
я взгляд свой
к свету?

ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ 1942

След
по склону сбежал вороний.
Брус сруба с шапкой
снега в дыму. Зато река
во льду.

Здесь
шло пламя, битый
камень, остатки кладки,
раздроблена стена,

где смотрела на
холм деревня, там река
год встречала, льня
ягней к притвору,
круглая заводь
улавливала ветер,

что бродит, в высотах,
собственной темнее
тени, зовет, хриплогорло
ворона
кричит в ответ.

ОТЧЕТ

Бейля Гельблунг,
сбежавшая во время
этапа из варшавского гетто,
девушка
пробиралась сквозь леса,
с оружием, партизанка
была схвачена
в Брест-Литовске,
была одета в шинель (польскую),
была допрошена офицерами
Вермахта, приложен
снимок, все офицеры достаточно
молоды, в форме с иголки,
с лицами с иголки,
их выправка
вне критики.

МОНАСТЫРЬ БЛИЗ НОВГОРОДА

Поток, тяжел,
облит вихрями, древними,
равнинные духи
бродят, берегом бредя
под дождем. Щука
в камыше встала.

Звоннорунный свет
на белых стенах,
над крышами тонет
бахрома голода, ночь, онемевшими
птицами сбита.

Ворота, пустые, камень
тропы, на кривых ступенях
сел старик с белым темечком,
когда возвысится в гулкой арке
напев, ворвется в железную
дверь ветер, взойдет
стылотекуще
серебряная щука со дна.

ТОМСКИЙ ТРАКТ

Галас, галас, ветер
ударяет по вервиям арфы
— кишкам звериным, на
ветви берез навитым, за
хребтом хребет идет,
я слышу там арфу, с той
стороны насыпи, но
не вижу дороги, Елизавета
молвила раз:

По Томскому тракту
крестьяне оставляют на
ночь в окне хлеб и квас,
чужак появится,
прошагает, никто
не молвит: «изгой», «сырым»
назовут, у него
сотня имен, любой бы
сумел окликнуть.

Вот это тракт, молвила
Елизавета, он шел
сквозь края, словно небо,
сквозь весны, вспениваясь
цветами, огромные деревья
держали небо, но снег
явился, спустя годы
явилась Елизавета,
братья стояли на берегу,
вышел внук на дорогу,
швырнул уду в траву.

ПАСХА

Нет, тот же холм,
темнеющий, только
тропинки прямы, издалека
тянутся равнины, ветер
разносит их крик.

Над лесом. Стремнина
на подступах, стучатся
в стену березы, башни,
купол в созвездиях, сусальна
крыша и на цепях крест.

Да,
в эту тихую темень
свет, пенье, сперва из-
под земли будто, медь, звоны,
голосов петушиный крик

и воздушные объятья,
звонно воздушные, по белой
стене башни, гордые
башни света, зрачки
твои у меня, щеки твои у меня,
рот твой у меня, снова
воскрес Он, так пойте ж,
зрачки, пойте, щеки, пой, рот,
пой Осанну.

РУССКИЕ ПЕСНИ

Пока на
башне в краю
отвесных скал и обрывов поет
Марина, у стоп
ее три потока текут, но
ночь и ветра тень
уже в пути.
О суженая,
ты древо,
крона твоя
высоко под луной мой
без шелома сон
хранит, под моим
же крылом.

Мой сон –
протягиваешь крупинку
соли, добытую в темном
море, взамен получишь
дождевку из того
края, где слез
больше нету.

ВОСПОМИНАНИЕ ДЛЯ Б. Л.

Зазвучит
село, задышит
зелень вдоль заборов и шляха,
а дождь пройдет,
ласточки полетят, в небе,
белом, достанет места для радуги,
вечер, висок,
к которому приткнулась рука, губы
поют без звука.

Крик
не придет больше.
Звезды падают, шелестящие,
на крыльях, мою жизнь
вопрошает твоя смерть. Дождь
(говорю) и зелень, птица
описала дугу,
свет распылен, облачный
блеск, он не придет
больше.

БРОД

Продернутые сквозь леса,
белы их пути, в полдень.
Кто-то пал на зеленый
склон и к потоку,
пил воду у переправы.
Взлетала ласточка.

И я знаю хижину
вверху, среди вишен. Там
ты прошагал. Камышовые
флейты пели. В снегу,
в буреломе
я возвращаюсь.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

Нов,
из ели белой
некогда дом —
живой в текучих смолах,
говорящий всю ночь,
бревна и доски ошептаны
снами, окрыленными, мягко
под соснами, молча
летали совы.

Безкож
и оставлен
бурям, долгим дождям,
морозы когтили
двери. Но для плача ты
стар. Так возвращаемся
мы все, несем наших
мертвых к тебе под крышу.

Ты при луне
и на ветрах лета поднимаешь
свое лицо, оно светло —
так лица девушек излучают
строгую красоту любви.

Дом,
раз, когда ты умрешь,
все обрушится,
стены и крыша, и очаг
рухнут, и любовь
так — ее шелест, в сумерки,
но мест она
уже не узнаёт.

ПУТЬ ДОМОЙ

Синь.
И бризы.
Высокая ель,
ее журавль облетает.
И еще дом,
помню, где нынче лес
спустился,
бел-невелик
этот дом, и мерцал зеленым
ракиты лист.

Ветер. Он привел меня.
Я прилег на пороге.
Он укрыл меня. Куда же
мне выпадет с ним? Ведь
я бескрыл. Свою шапку
вечером
подбросил я птицам.

Смерклось. Летучие мыши
мечутся над головой. Пускай
кормило разбито, но я не утону, я пойду
по водам.

ВЕЧНО НАЗЫВАТЬ

Вечно называть:
дерево, птицу в полете,
утес, что сизым потоком
омыт, сам рыж, рыбу
в белом дыму, когда темень
над лесами густа.

Тона, знаки, одна
видимость, я в ловушке,
игра не ведется
честно.

Кто подскажет,
что я позабыл: камней
ли сон, сон
птиц в полете, деревьев
ли сон, во тьме
длятся их речи — ?

Явись Господь
да во плоти,
да воззови он ко мне, я бы
оглянулся, я бы
помедлил чутка.

МИЦКЕВИЧ

Я возле рощи дубовой, но нем
замок, и свечку
поставила мать
пред ликом в Бrame Виленской, летели
по реке паруса, в дыму,
сарыч парил
над голубизной, и алый
пришел за ним вечер,

равно как час городов,
равно как и улиц, с лавиной
Крыма, вдоль моря
дорога вспыхнула, и телега
плыла по аккерманским степям —

Я вживаюсь в счастье,
говорю вам, это легко,
думаю, голос мой крепнет,
я ливень пью, головой
прислоняясь к парижским
бульварам, я небо пью
как чьи-то уста, вижу,
унесенного ветром, сарыча
над рощей дубовой, река
крутит сальто вперед,
к равнинам, прочь,
под петли ласточкины,
прочь, из утр морозящих,
над селами на взводе
и над рощами: день,
в сиянии гневном, мятежен —

Приду, от напева шарманки,
от всей болтовни, устал,
лишь полет этюда в ушах, я встану
над пропастью, стану
различать зов и тот звук
брать трепещущим ртом,
говоря: это легко.

ВРЕМЯ ЩУК

Корни,
держите меня,
вы ясеня корни,
я выпал из царства земли, я камень
в прожилках, крылом ласточки
сбит! Белогрудка, касатка,
лети туманной тропой.

Свирепую щуку
я отодрал ото дна,
о камень ее ударил,
прежде чем зелень
сошла, я
прихватил листом репейника кровь.

Вверх
неси меня, лодка.
Высь побелела. Птичьего
крика дерево
приоткрывает глаза.

В ПОТОКЕ

Вниз на плотях
в живом серебре чужого
берега, в том
скрадывающем блеске, в ртути
откосов и склонов, из зеркал
обстреляны светом.

Череп Крестителя
разорванным виском лег,
в обкромсанные волосы
ломкими, голубыми ногтями
впилась рука.

Пока я любил тебя, шалое
твое сердце, трапеза над буйным
огнем, тот приоткрывшийся
рот, поток
дождем был и летел
с журавлями, листья
лились и стелили русло.

Мы бдели над цепеневшими
рыбами, убранный в чешую
встал гимн сверчка
над песком, из листвы
прибрежий, мы пришли
заснуть, никто не
обошел привала, никто
не гасил зеркал, никто
не разбудит нас
к нашим дням.

ЛАТЫШСКАЯ ОСЕНЬ

Заросли вороньих ягод
насквозь, а осень
вышла на просеку, позабыты
танцы куропаток меж березовых пней, она
обходит ствол, облетаемый цаплей, на лугах,
там она пела.

Ах, если б те сена валки,
лежбище ее светлой ночи,
рассеянные по ветрам стебли
к берегу смел —

но стоит лишь потоку заснуть,
как облако над ним, голос
птичий, клич:
Нас нету больше —

Вот тут я зажгу твой свет,
невидимый мне, к нему руки
свои протяну, чтоб
пламя обхватить, ало
стоит оно пред лицом ночи
(как замок, склоном горы
несущий вниз руины,
как окрылившейся змейкой
свет сквозь поток, как волосы
любви еврейской),
и не обжигает.

НОВГОРОД

(Явление святого)

И,
пока роса, свет
сминает берег, озеро
поднимается, облаком,
крылья его в черных
птицах и в белых,

где образ, доской,
круглился, зеленой доской
с потемнелым ликом,
Никола, волна
в позеленевших перстах
влекла его вниз,

а встречь ему
Антоний, чужак, что камнем
сюда по усмиренной воде
приведен, чрез пучину,
легко ступил на берег,
там город он увидал,

башнекрыши,
шагнувшие в гору стены
на шаг от пади в полете
тех черных и белых птиц,
и башню, вневписанную
в твердыню небес.

Аминь. Этакый выпал
крест на моей стезе,
речет Антоний, валун —
ступай, дурень, вы тоже,
дурни, ступайте, юродивые,
тем вон мостом, зыбким.

Они бьют посохами, сухие
члены в тряпье парящем,
вертокрылы прошлых зим.

С кликом пустились вы в путь.
Отвалите мой камень.

ТЕНЕЗЕМЬЕ

Шелковы голоса,
листья, птицы, я шел
три поприща
перед большим снегом.
На берегу, в кудрявых волосах
ость и очески, струнила псов
и звала паромщика рагана, тот ждал
в воде, посередине реки.

Однажды
вслед за туманом,
лощиной на крыльях из золота
плыли дрофы, ставя четко
роговую стопу посреди трав,
свет убывал, день спустя.

Зябко. На кончике травинки
белая пустота
до самых небес. Дерево,
пусть старое, и
берег, туманы тонким
запястьем мерят русло.

Темнеет, живущему
здесь дан птичий голос.
Над лесом кто-то
развесил негасимые свечи.
Не касаясь дыхания.

КЛОПШТОКУ

Когда б я не желал этого,
настоящего: скажу
лес и реку,
однако же в чувства
свои впушу темноту,
заполошной птицы голос, зигзаги
света над бездной

и те звучащие воды —
я б так желал
сказать твое имя,
когда б хоть толика славы
нашла меня — я
поднял бы брошенное мной
прежде, темные записи грехов и
искуплений:
как я верю
делам — ты свершал их — верю
языкам забывчивых, я
скажу в зиму, вниз их
бескрылое, тонкогубое
слово.

УЗНАВАНИЕ

Знаки,
крест, рыба,
пещерных стен исчерченный камень.

Мужчины друг за другом
спускаются в землю.
Она скруглится над ними,
трава, зелена, насквозь
пробьет кусты.

В груди моей
вздывается поток,
голос из песков:

откройся,
а то мне не всплыть
твои мертвые
текут во мне

ТОЛЬМИНКЕМЕН, ДЕРЕВНЯ

День догорел костром,
дымок над липой,
ходит там, бела голова,
люди говорят:
Теперь наступает вечер,
один затевает песню,
поля несут ее вдаль.

Ступай туда, Донелайтис,
река разовьет свои крылья,
ястреб, гроза голубей,
верхушки леса черным-черны
восстают, ветреный
призыв над горой.
Живут там травы.

Нисходит и этот день,
под крючья-тени
колодцев, оконный луч
обезветрен, лучина
дает мышинное
благословение.

Вот лист, пиши на нем:
с неба излилась благодать,
я видел, что посеяна правда
и ждет, чтобы снизойти
и чтобы настал гнев.

ГОРОДА НА ВОЛГЕ

Раппорт кладки.
Башни. Уступчат берег. Было
раз, упал деревянный мост. Вдали воспаленные
кострища татар. Кудлатоборода
ночь, богомольна, шла,
бормоча. Утра
всплескивались, колодцы
встали в крови.

Пообвыкнешь на камне.
Стекланным полуднем
прикладывал ко лбу
руку Минин. И разлетелся
водами отраженный гомон, то Стенька
подчалил — Идут себе берегом
по самое горло в подлеске
сибиряки, чащи
их тащатся им вослед.

Я
слышал там слово
уст человеческих:
зайди в свой дом
зашитой наглухо дверью,
окно распахни встречь
световому морю.

АИР

Под дождепарусом окрест
разлетелся вопль,
сам ветроводен.
Над лесом сизой
горлинки распростерты
оба крыла.
Красиво в разбитом железе
папорота
гуляет
с фазаньей головой свет.

Тебя,
дыхание, шлю я,
крышу себе найди,
окно насквозь пройди, там, в белом
отбившись зеркале,
вернись молча
зеленым мечом.

БАЛТИЙСКИЕ ГОРОДА

Свет без восхода и без заката.
Смерть мотылька способна оживить воду.
Дождь это дождь.
Сквозь лохмы туч сюда
к нам приходит ветер,
вычесавший речные пески, он дюну
увлекает за море.

Свет
придет назад
по водам. Отыщет
дорогу дождь
на путях птиц. Украшены
пестрыми ярлыками
высокие расхристанные
цитадели то там, то сям.
И ты читаешь:
Был час травы.

БРОШЕННЫЙ ДОМ

Шагами
умерших
отгорожена эта аллея. Точно эхо
по морю воздуха к нам
шло, оплетена земля леса
хмелем, вот корни
проступили, тишина
с птицами близка, голоса белы.
По дому
блуждали тени, чужой разговор
под окнами. Шныряют
мыши в
лопнувших клавикордах.
На том конце улицы
я видел старуху
в черном платке,
села на камень
и пристально смотрела на юг.
Среди песков
цвел с многопалыми жесткими
листами репей.
Там небо было
нагим, в цвет волос на темени детском.
Прекрасный край Отечество.

ПЕСНЬ ДЛЯ УЛЛЫ ВИНБЛАД

Мне ведома осень гор.
Слышна походка твоя
сквозь мглу тропой каменистой.
Ты же вернешься. Манят
огни в долину.

И сделалась любовь
словно снегопад,
бесплотна, шорох сквозь пульс. —
В небесах твоих вечно,
друг мой, зубцы крепостные;
раньше песнь трубадура,
а до нее трепетный твой
стих, что не ведал, куда ведет, —
ветренный зонг, в нем
темные бега мужские.

И чтоб мой напев
тон восходящий взял, скользя
над ветром, лунным светом
тихим и садами свыше,

руку
кладу я на снег.
Достаточно знака:
здесь жить.

*Палагаю,
человек должен жить именно прошлым,
а с будущим обходиться крайне осторожно,
крайне бережно. Ведь мы его не знаем.*

И. Бобровский

ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ

- Поселок (*Dorf*, 22.6.1956)
Детство (*Kindheit*, 14.11.1954)
Рыбачки Куршской косы (*Die Frauen der Nehrungsfischer*, 15.6.1955)
Рыбачья гавань (*Fischerhafen*, 4.8.1958)
Старая военная дорога (*Die alte Heerstraße*, 27.10.1955)
На телеге (*Wagenfahrt*, 3.9.1957)
У реки (*Am Strom*, 19.6.1958)
Литовский колодец (*Der litauische Brunnen*, 3.7.1957)
Кладбище (*Friedhof*, 25.11.1959)
Ночь в деревне (*Dorfnacht*, 31.3.1960)
След на песке (*Die Spur im Sand*, 12.8.1954)
Литовские песни (*Litauische Lieder*, 18.7.1957)
Сарматская равнина (*Die Sarmatische Ebene*, 27.5.1956)
Отблеск (*Gegenlicht*, 10.12.1959)
Прусская элегия (*Pruzzische Elegie*, июль 1952)
Страсти по Янну (*Trauer um Jahnn*, 8.12.1959)
Вийон (*Villon*, 2.3.1957)
Гюндероде (*Die Günderode*, 9.8.1956)
Алексис Киви (*Aleksis Kivi*, 14.5.1958)
Джозеф Конрад (*Joseph Conrad*, 3.7.1956)
Дилан Томас (*Dylan Thomas*, май 1959)
Лебединая песня (*Der Singschwan*, 6.8.1956)
Ветряк (*Windmühle*, 6.8.1959)
Проселок (*Dorfstraße*, 3.7.1959)
Церковь «Утоли моя печали» (*Die Kirche «Lindere meinen Kummer»*, 5.4.1960)
На Таврической дороге (*Auf der Taurischen Straße*, 16.10.1958)
Пейзаж с птицами (*Landschaft mit Vögeln*, 7.1.1960)
Ильмень-озеро 1941 (*Der Ilmensee 1941*, июнь 1959)
На родине Шагала (*Die Heimat des Malers Chagall*, 1.7.1955)
Латышские песни (*Lettische Lieder*, 23.10.1956)
Западная Двина (*Die Düna*, 24.3.1959)
Каунас 1941 (*Kaunas 1941*, 1957)
Возвращение (*Wiederkehr*, 22.2.1960)
Огонь и снег (*Feuer und Schnee*, 29.10.1959)
Побережье (*Seeufer*, 23.3.1960)
Однажды (*Einmal haben*, 18.2.1960)

Мемель-река (*Die Memel*, 16.6.1959)
Даубас (*Die Daubas*, 7.12.1954)
Зимний свет (*Winterlicht*, 23.12.1955)
Равнина (*Ebene*, 20.6.1960)
Два оклика (*Rufe*, 22.1.1961)
Летние крики (*Sommergeschrei*, 18.11.1960)
Сокрытое (*Ungesagt*, 7.9.1960)
Рассказ (*Erzählung*, 10.4.1961)
Странник (*Der Wanderer*, 25.7.1960)
Зимние крики (*Wintergeschrei*, 3.11.1959)
Гаман (*Hamann*, 17.10.1960)
Старый двор в Вильне (*Alter Hof in Wilna*, 14.8.1960)
Бузинный цвет (*Holunderblüte*, 15.9.1960)
Хасид Баркан (*An den Chassid Barkan*, 10.6.1960)
Памятка (*Gedenkblatt*, 2.8.1960)
Приметы ненастья (*Wetterzeichen*, 23.11.1960)
Нения (*Nänie*, 11.10.1960)
Марина (*Seestück*, 15.7.1960)
Гельдерлин в Тюбингине (*Hölderlin in Tübingen*, 30.5.1961)
Холм Юденберг (*Der Judenberg*, 10.6.1955)
О реках (*Von den Strömen*, 19.12.1960)
Гертруд Кольмар (*Gertrud Kolmar*, 9.1.1961)
Нелли Сакс (*An Nelly Sachs*, 19.6.1961)
Дон (*Der Don*, 3.8.1960)
Икона (*Ikone*, 27.10.1960)
Заброшенный край (*Verlassene Ortschaft*, 5.2.1961)
Под каймой ночи (*Unter dem Nachtrand*, июль 1952)
Севернорусский город (*Nordrussische Stadt*, сентябрь 1956)
Перемена мест (*Aufenthalt*, 17.3.1961)
Рыбачьи поселки в сумерках (*Abend der Fischerdörfer*, 25.10.1959)
Базилика 1941 (*Kathedrale 1941*, 29.12.1955)
Церковь в селе 1942 (*Dorfkirche 1942*, 19.8.1960)
Отчет (*Bericht*, 17.1.1961)
Монастырь близ Новгорода (*Kloster bei Nowgorod*, 23.7.1955)
Томский тракт (*Die Tomske Straße*, 30.5.1961)
Пасха (*Ostern*, апрель 1961)
Русские песни (*Russische Lieder*, 26.9.1960)
Воспоминание для Б. Л. (*Gedächtnis für B. L.*, 31.5.1960)

Брод (*Die Furt*, 2.5.1956)
Деревянный дом (*Holzhaus*, 30.10.1957)
Путь домой (*Heimweg*, 18.5.1960)
Вечно называть (*Immer zu benennen*, 4.2.1961)
Мицкевич (*Mickiewicz*, 7.5.1961)
Время шук (*Hechtzeit*, 1960)
В потоке (*Im Strom*, 11.8.1961)
Латышская осень (*Der lettische Herbst*, 10.10.1961)
Новгород. Явление святого (*Nowgorod. Ankunft der Heiligen*, 25.11.1961)
Тенеземье (*Schattenland*, 30.1.1962)
Клопштоку (*An Klopstock*, 5.2.1962)
Узнавание (*Erfahrung*, 16.2.1962)
Толминкемен, деревня (*Das Dorf Tolmingkehmen*, 18.4.1962)
Города на Волге (*Die Wolgastädte*, 2.6.1962)
Аир (*Kalmus*, 20.8.1962)
Балтийские города (*Die Ostseestädte*, 4.9.1962)
Брошенный дом (*Das verlassene Haus*, 8.3.1964)
Песнь для Уллы Винблад (*An Ulla Winblad*, 17.11.1955)

ПРИМЕЧАНИЯ ИОГАННЕСА БОБРОВСКОГО

На телеге. Мариамполь – город в Литве.

Уреки. Острая Брама [Aušros Vartai] – ворота в Вильнюсе, давнее место паломничества с чудотворной иконой Девы Марии.

Прусская элегия. Стихотворение воскрешает память об истребленном Рыцарским орденом народе пруссов. Перкун, Поклус, Потримп – прусские божества.

Алексис Киви. Куллерво – персонаж «Калевалы». Юкола – отцовская усадьба семи братьев в одноименном романе А. Киви.

На Таврической дороге. Энкиду – спутник Гильгамеша.

Латвийские песни. В XVII веке⁷ некий фон Икскуль предстал перед Рижским магистратом по обвинению в за убийстве своего крепостного.

Мемель-река. Юра, Митува, Шешупе – притоки Мемеля [Нямунаса].

Даубас – литовское название левого берега Мемеля возле Рагнита [Немана].

Гаман – Иоганн Георг Гаман в Кенигсберге (1730–1788). Васянский – в то время проповедник тамошней польской общины. Создателем «Жизненных путей по восходящей линии» был Т. Гиппель, «Стихотворений во вкусе Грекура» – И. Г. Шеффнер; оба сочинения напечатаны анонимно. В Лицентграбене Гаман жил, в Кацбахе – родился.

Старый двор в Вильне. Вилейка – приток реки Вилия [Нярис].

Нения – в стихотворении имеется в виду Дитрих Букстехуде.

Холм Юденберг. Последняя строфа адресуется к одной ирландской легенде.

Гертруд Кольмар. «...Мы будем опоясаны башнями» [... mit Türmen gegürtet sein] – из стихотворения Г. Кольмар «Еврейка».

Тольминкемен, деревня. Кристионас Донелайтис с 1743 года и до самой смерти служил пастором в деревне Тольминкемен⁸. С его идилии «Времена года» [Metai], описывающей жизнь литовского крестьянства, начиналась литовская литература.

⁷ по-видимому, речь идет о XVI веке и Ревельском магистрате

⁸ поселок Чистые Пруды Калининградской области

ХРОНИКА КОРОТКОЙ ЖИЗНИ

даты жизни и творчества И. Бобровского

1914	<i>28 июля – начало Первой мировой войны.</i>
1915	<i>24 декабря сочетались браком будущие родители Бобровского.</i>
1917	<p>9 апреля на Грабенштрассе 7 [сегодняшняя Смоленская] в городе Тильзит [Советск Калининградской области] на реке Мемель/Неман родился Иоганнес Конрад Бернхард Бобровский. Родители: отец – Густав Бобровский, чиновник железнодорожного ведомства, вице-фельдфебель санитарной службы; мать – Иоганна Елизавета Хедвиг, урожденная Вицке.</p> <p>Дед со стороны отца – владелец сельхозмашин и мастерской в Растенбурге [Кентшин в Мазурском крае]. Бабка по материнской линии, в чьем доме родился Иоганнес – акушерка и знахарка; в 1920 году она вторично выйдет замуж и переедет в Моцишки, в имение на берегу Юры, правого притока Мемеля. Атмосфера в семье буржуазная, в то же время крайне благочестивая.</p>
1918	<p><i>3 марта – Советская Россия и блок Центральных держав (противостоявших Антанте в Первой мировой войне) подписывают в Брест-Литовске [Брест] сепаратный мирный договор: Россия признает поражение, теряя привислинские губернии, Украину, Курляндскую и Лифляндскую губернии, губернии с преобладающим белорусским населением и ряд других территорий. 19 июля – вступает в силу Конституция РСФСР.</i></p> <p><i>Начало ноября – восстание матросов в Киле (сигнал к Ноябрьской революции в Германии). 11 ноября – Антанта и Германия заключают Первое комьпенское перемирие (фактическое окончание Первой мировой войны).</i></p> <p><i>13 ноября – аннулирование Брестского мира и продолжение Гражданской войны в России.</i></p>

1919	<p>На некоторое время семья переселяется в Грауденц [Грудзёндз] на Висле.</p> <p>31 июля – принятие демократической Веймарской конституции Германской империи.</p>
1920	<p>10 января вступает в силу Версальский договор от 28 июня 1919 года: в связи с возникновением т. н. Польского коридора провинция Восточная Пруссия становится немецким эксклавом.</p> <p>Возвращение семьи Бобровских в Тильзит.</p> <p>12 июля – подписание в Москве мирного договора между РСФСР и Литовской Республикой (Московский договор). 11 августа – подписание в Риге мирного договора между РСФСР и Латвийской Республикой (Рижский договор).</p> <p>29 сентября – рождение сестры Урсулы.</p> <p>7 октября – подписание договора между Польшей и Литвой о суверенитете Литвы над Вильнюсом и Виленским краем (Сувальский договор); 9 октября – Польские части занимают Вильнюс и часть Литвы, Вильно становится столицей т. н. Срединной Литвы.</p>
1922	<p>20 февраля – постановление Виленского сейма о присоединении к Польше; в конституциях Литвы 1928–1938 годов Каунас именуется ее «временной столицей».</p> <p>30 декабря – создание СССР на подконтрольной большевикам территории России, Украины, Белоруссии и Закавказья (за исключением Западной Украины и Западной Белоруссии, вошедших в состав Польши).</p>
1923	<p>Январь – Мемельское/Клайпедское восстание под руководством бывших офицеров Русской императорской армии.</p> <p>5 апреля Бобровский в первый раз идет в школу в Тильзите.</p>
1924	<p>8 мая – Великобритания, Франция, Италия, Япония и Литва подписывают в Париже Клайпедскую конвенцию, согласно которой Клайпедский край становится автономной областью под суверенитетом Литвы (компенсируя утрату Виленской области).</p>

1925	<p>Семья переезжает в Растенбург, где отец занимает должность начальника транспортно-экспедиционного отдела станции. Бобровский посещает гимназию в Растенбурге. Начало занятий музыкой: клавесин, скрипка.</p> <p>Назначение отца обер-секретарем в Дирекцию железной дороги; переезд в Кенигсберг [Калининград]. Бобровский поступает в гуманитарную городскую гимназию Альтштадт-Кнайпхоф, во второй класс [Quinta, соответствует шестому году обучения в обычной школе].</p>
1928	<p>Назначение отца обер-секретарем в Дирекцию железной дороги; переезд в Кенигсберг [Калининград]. Бобровский поступает в гуманитарную городскую гимназию Альтштадт-Кнайпхоф, во второй класс [Quinta, соответствует шестому году обучения в обычной школе].</p> <p>Гимназия образована в результате слияния в 1923 году гимназий Альтштадта и Кнайпхофа (исторические части Кенигсберга) и расположена возле Кафедрального собора; годом ее основания считается 1333-й. Директор, д-р Артур Менц, до самого конца войны воздержится от вступления в НСДАП.</p> <p>До 1932 года семья живет в Нижнем Хаберберге [улица Багратиона], затем переезжает в Марауненхоф на Самиттер Аллее [улица Горького].</p>
1929	<p>Поездка на летние каникулы в Клайпедский край; вероятно, первое посещение тетки (по материнской линии) Агаты в деревне Вилкишки и бабки Агнес в Моцишках.</p>
1930	<p>Бобровский присоединяется к «Союзу немецких Библейских кружков»; посещает еврейско-русско-польский (на тот момент) город Каунас/Ковно, где работает дядя по матери Конрад Вицке; открывает для себя языческое наследие пруссов.</p> <p>Апрель – Бобровского оставляют на второй год в третьем классе [Quarta].</p>

1931	Апрель – Бобровского переводят в четвертый класс [Untertertia].
1932	«Образовательное путешествие» с отцом в Южную Германию (до Мюнхена).
1933	Апрель – Бобровского оставляют на второй год в пятом классе [Obertertia].
1934	Занятия гармонией и теорией музыки с органистом Кафедрального собора; недолгая дружба с писателем Альфредом Брустом (до смерти последнего в 1934 году).
1934	11 Марта – конфирмация в Кафедральном соборе; Бобровского переводят в шестой класс [Untersekunda]. Май – основание Исповедующей церкви (как ответ попыткам унифицировать учение и организацию Немецкой евангелической церкви); Бобровский активно участвует в деятельности Марауненхофской общины. Сильное влияние руководителя нелегальной проповеднической семинарии Исповедующей церкви Ханса Иоахима Иванда, теолога и последователя Иоганна Георга Гамана.
1935	В Исповедующей церкви вводятся членские билеты. Бобровский пишет первые стихотворения. По окончании шестого класса получает свидетельство об окончании средней школы. Июль – поездка в Моцишки. Пересечение границы в Тильзите, по мосту королевы Луизы; «виршайтис» [старшина] Михаэль Буддрус ставит печать в паспорт с выданной литовским консульством визой. Факультативные занятия: французский, иврит.
1936	Семья Бобровских присоединяется к Исповедующей церкви, членский билет № 336 общины при церкви памяти королевы Луизы [Калининградский областной театр кукол].

1936	<p>Январь – путешествие в Люк [мазурский Элк] и Алленштайн [варминский Ольштын]. Март – первая неудачная попытка опубликовать свои стихи (отзыв Генриха Эллермана из Мюнхена – «недостает единственной и неповторимой судьбы» и «лишь один обладал этим в наши дни: Тракль!»). Июль – путешествие по Бранденбургу, долине Рейна и Саксонии.</p> <p>Школьный товарищ Герхард Фетт сочиняет музыку на слова Бобровского.</p> <p>Факультативные занятия: русский, итальянский.</p>
1937	<p>23 марта – аттестат зрелости (религия, немецкий, биология, рисование – хор., математика – неуд.). Иоганн и Урсула планируют в ближайшем будущем изучать в Берлине историю искусств.</p> <p>27 марта – семидневные каникулы в Моцишках; знакомство с Иоганной Буддрус, дочерью старшины Михаэля. Апрель–октябрь – трудовая повинность в рамках Имперской службы труда. 2 ноября – вступает в Вермахт; начало двухгодичной службы связистом в 41-м подразделении связи в Кенигсберге.</p> <p>15 ноября – Густав Бобровский переселяется в Берлин.</p>
1938	<p>Сентябрь – мать и сестра Бобровского переезжают к отцу в Берлин-Фридрихсхаген, Фридрихштрассе 91 (с 1947 года Бёльшештрассе).</p> <p>Маневры под Голдапом. Чин ефрейтора после неполного года службы.</p> <p><i>24 октября – Германия впервые требует от Польши (через ее посла в Германии) возвращения Данцига/Гданьска и признания экстерриториальности шоссе и железной дороги Берлин–Кенигсберг.</i></p> <p><i>9–10 ноября – еврейские погромы «Хрустальной ночи»: в Кенигсберге сожжена Новая синагога, разрушен Траурный зал еврейского кладбища (синагога в Голдапе также).</i></p>

1939	<p><i>21 марта – Германия предъявляет Польше ультиматум (министру иностранных дел Польши). 22 марта – немецко-литовский договор о «Воссоединении Мемельского края с Немецким Рейхом». 23 августа – заключение Договора о ненападении между Германией и СССР.</i></p> <p>С 17 августа – в эксплуатационной роте 501-го полка связи 3-й армии.</p> <p><i>1 сентября – начало Второй мировой войны. 17 сентября Красная Армия пересекает советскую границу. 22 сентября занятый немцами в ходе Польской кампании Вермахта Брест (к этому моменту Брест-над-Бугом) передается под контроль советской администрации и входит в состав СССР. 6 октября – завершение оккупации Польши.</i></p> <p>Участие в боевых действиях в Польше в составе групп армий «Север».</p> <p><i>10 октября – Литва подписывает советско-литовский договор о взаимопомощи (и передаче Литовской республике Вильно и Виленской области в обмен на пять советских военных баз на ее территории).</i></p> <p><i>Октябрь–декабрь – первый этап эвакуации прибалтийских немцев из Латвии.</i></p> <p><i>30 ноября – начало Советско-финской войны (1939–1940). Продвижение к границе Франции.</i></p>
1940	<p><i>10 мая – завершение периода «странной войны» (боев локального значения); начало широкомасштабных наступательных действий Германии на территории нейтральных Бельгии и Голландии с целью захвата Франции.</i></p> <p><i>14 июня – СССР предъявляет Литве ультиматум, требуя отставки правительства и усиления советского военного присутствия; 15 июня – армия берет под контроль основные города; 14–15 июля в Литве проходят выборы в Народный Сейм с единственным списком кандидатов от «Трудового союза народа Литвы» [Lietuvos liaudies darbo sąjunga]; 21 июля – Народный Сейм провозглашает Литву советской республикой; 3 августа – Верховный Совет принимает Литву в состав СССР.</i></p>

1940	<p>17 июня – дополнительные части Красной Армии вступают в Латвию; 14–15 июля – в Латвии проходят выборы в Народный Сейм с единственным списком кандидатов от «Блока трудового народа Латвии» [Latvijas darba[aižu] bloks]; 21 июля – Народный Сейм провозглашает Латвию советской республикой; 5 августа – Верховный Совет СССР принимает Латвию в состав СССР.</p> <p>22 июня – Второе комьпенское перемирие (капитуляция Франции).</p> <p>Зима 1940/41 – две недели в Париже.</p>
1941	<p>11 апреля (Страстная пятница) – начало переброски в Восточную Пруссию в составе 16-й армии группы «Север»; Бартенштайн [Бартошице на границе с Калининградской областью]. Обер-ефрейтор.</p> <p>14 июня – начало Июньской депортации жителей Латвии и Литвы.</p> <p>22 июня – войска вермахта пересекают границу СССР.</p> <p>Конец июня – многодневный еврейский погром в Каунасе с участием освобожденных немецкой администрацией преступников, вооруженных ломами.</p> <p>28 июня – Бобровский в Каунасе.</p> <p>4 июля – еврейский погром в Риге, осуществленный местными силами; разрушение синагог, сожжение евреев в Большой хоральной синагоге.</p> <p>Июль–август – Кандава–Лудза–Опочка–Пустошка–Порхов–Дно–Шимск. Базирование на берегу озера Ильмень (Коростынь в 6 км от устья Шелони); задача группы из 4 чел.: ремонт телефонных линий.</p> <p>Предположительно здесь пишет 6-частный одический цикл «Восточный пейзаж 1941» и две оды «Ильмень-озеро». Конец августа – специальное задание в разрушенном Новгороде («шумливый день»); 5-частный одический цикл «Новгород 1941».</p> <p>28 августа – ликвидация Автономной Республики немцев Поволжья.</p>

1941	Начало декабря – отпуск; имматрикуляция в Университете Фридриха Вильгельма (Берлинский университет имени Гумбольдта) для обучения в осенне-зимнем семестре 1941/42 (лучшие лекторы – Бруно Кроль, Отто Кюммель, Вильгельм Пиндер – убежденные национал-социалисты). Вечерние встречи антигитлеровски настроенных сокурсников в «Генрих-Цилле-клаузе» (Шарлоттенштрассе 46).
1942	<p>Январь – обручение с Иоганной Буддрус.</p> <p>Март – резервный батальон связи в Восточной Пруссии; апрель – возвращение в прежнюю роту на озеро Ильмень. Сентябрь – начало переписки с Иной Зайдель. Ноябрь–декабрь – отпуск: Берлин, Восточная Пруссия, Моцишки.</p>
1943	<p><i>Январь–март – карательные операции «Заяц-беляк» [Schneehase] и «Зимнее волшебство» [Winterzauber] в треугольнике Себеж–Освея–Полоцк при участии местных полицейских формирований; цель последней – образование зоны отчуждения вдоль восточной границы Латвии.</i></p> <p>Начало года – Псков–Опочка–Пустошка–Валдай. 30 марта – «Первое, чему мы тут учимся, это видеть. Пейзаж, как его не разглядывай, несет нам одну пустоту» (из письма Ине Зайдель). Апрель–май: отпуск.</p> <p>27 апреля – вступает в брак с Иоганной Буддрус; «военная свадьба» в Моцишках: венчание во дворе Михаэля Буддруса.</p> <p>Август–сентябрь – Новгород; 5-частный цикл «Новгород 1943». Октябрь–ноябрь – 11-частный цикл «Восточный пейзаж 1943». Декабрь – Карсава (на граница Латвии с Россией): «Наши обстоятельства упорядочены, т. е., стоим далеко, поблизости от высокого штаба». 2 декабря – Пауль Альверде, издатель журнала Das Innere Reich [«Внутреннее Царство»], благодарит Ину Зайдель за присланные ему «стихотворения Ханнеса Бобровского».</p> <p>Крест Военных заслуг 2-й степени (массовая награда, немецкий аналог ордена Красного Знамени: более 2,5 миллионов награждений).</p> <p>Январь–февраль – последний отпуск в Моцишках.</p>

1944	<p>28 января – письмо от Пауля Альверде: «Среди новых имен мне давно не встречался кто-либо, чей труд заговорил бы со мной с такой силой...» 20 февраля – письмо Ине Зайдель о чувстве благодарности к «этой необъятной стране», которая спасла его от «инфляции человечности» во Франции.</p> <p>Отклоняет предложение вступить в НСДАП и стать офицером, чтобы иметь возможность отучиться еще один семестр: остается в звании штабс-ефрейтора; командир полка препятствует его отправке на фронт.</p> <p>Март – первая публикация в журнале <i>Das Innere Reich</i> (1943/1944, №4): 7 од из циклов «Восточный пейзаж 1943» и «Новгород 1943» (гонорар 100 рейхсмарок). 7 апреля (Страстная пятница) – мелодекламация в усадьбе Малнава. Конец апреля – чтение од товарищам по роте. Передислокация в Огре под Ригой.</p> <p>23 июня – начало белорусской наступательной операции «Багратион»: 1 августа – взятие Каунаса советскими войсками, 28 июля – взятие Бреста. Изоляция группы армий «Север».</p> <p>Сентябрь – Рига.</p> <p>14 сентября – начало Прибалтийской операции: 5–22 октября – первый этап Мемельской операции, 15 октября – взятие Риги. Образование Курляндского котла.</p> <p>Отступление к Кандаве.</p> <p>17 ноября – первый бой батальона легионеров под командованием лейтенанта Роберта Рубениса из т. н. «группы генерала Курелиса» против немецкой части в районе Ренды (поселок в 30 км восточнее Кандавы).</p> <p>Декабрь – Адольф Гитлер и рейхсминистр Йозеф Геббельс составляют т. н. особый список «незаменимых художников», куда вносят Ину Зайдель (вместе с кенигсбергской писательницей Агнес Мигель).</p> <p>«Песня о Родине»: 12 строф с различными схемами рифмовки.</p>
1945	<p>6–9 апреля – Кенигсбергская операция. 8 мая – капитуляция Вермахта.</p>

1945	<p>Массовая сдача в плен (пос. Ренда); пеший марш к сборному лагерю в Елгаве. Начало июня – транспортировка по железной дороге, вместе с 2 тыс. других немецких солдат, в Новошахтинск Ростовской области (Восточный Донбасс). Работа на шахте, участие в деятельности культбригады.</p>
1946	<p>12 апреля – первая весть родителям: получена в июне. 10 июня – Густав Бобровский (после войны – преподаватель стенографии) пишет сыну, что его жена и близкие находятся недалеко от Бартошице.</p> <p>Лето – приобретение музыкальных инструментов для культбригады на заработанные ее членами деньги. Несколько месяцев на строительстве в степи. Осень – ухудшение здоровья, перевод на легкие работы. Декабрь – «Я вернусь!» (весточка Ине Зайдель).</p>
1947	<p>Январь–март – в лагерном лазарете (с диагнозом «воспаление сердечной мышцы»). С 6 апреля (Пасха) участвует в театральных постановках – как актер и автор литературных обработок.</p> <p><i>16 мая – постановление Совмина СССР «Об отправке в Германию нетрудоспособных военнопленных бывшей германской армии и интернированных немцев».</i></p> <p>Июнь–август – отправка на 3-месячные областные антифашистские курсы (вероятно, в связи с публикацией в лагерной стенгазете). По возвращении в Новошахтинск бригадир на лесном складе. Конец сентября – известие о том, что Иоганна прибыла в Берлин-Фридрихсхаген к родителям Бобровского (Советская оккупационная зона).</p>
1948	<p>11 февраля – «Мне кажется, со стихами впервые что-то случилось именно здесь» (открытка домой).</p> <p>С августа – лагерь в Новочеркасске № 182/12 (Шахтинское управление лагеря № [7]182); разнорабочий на восстановлении Новочеркасского электровозостроительного завода.</p>

1949	<p>Март – лагерь № 182/19. Май – направление на 9-месячные Центральные антифашистские курсы на базе Южского лагеря № 165 (пос. Талицы Ивановской обл.): «режиссура с довольно большим размахом».</p> <p>23 декабря – Франкфурт-на-Одере (освобождение из плена); вечер 24 декабря – возвращение домой (Берлин-Фридрихсхаген).</p>
1950	<p>1 января – становится членом «Объединения свободных немецких профсоюзов». Отказывается от предложения возглавить театр-варьете Фридрихштадтпаласт. Январь–февраль – референт в театре «Фольксбюне»; Иоганна работает воспитательницей в детском саду. «Моя старая позиция изменилась, я больше не ‘зритель’» (в письме Фрицу Шауманну 9 января).</p> <p>22 февраля – начало работы в качестве (единственного) редактора в детском издательстве Люси Грошер [Lucie Groszer]. С 23 марта – член «Общества немецко-советской дружбы». 5 апреля (Страстная среда) – приезд бабки Агнес с мужем. Реконструкция стихов, написанных в плену; домашнее музицирование; увлечение антикварными изданиями.</p> <p>Лето – попытка возобновить переписку с Иной Зайдель.</p>
1951	<p>С 1 января – член «Культурного союза для демократического обновления Германии» (с 1958 года «Культурный союз ГДР»). Письмо Отто Баеру: «Мои старые метафизические склонности всё очевиднее вступают в свои прежние права».</p> <p>26 марта – рождение дочери Юлианы.</p> <p>11 октября – день образования Union Verlag, издательства Христианско-демократического союза. Издательство расположилось в легендарном Газетном квартале, в «доме Альфандари» на углу Циммерштрассе и Шарлоттенштрассе (Циммерштрассе 79/80). В 1961 году прямо под окнами этого дома прошла Стена, а его обращенный к Фридрихштассе торец оказался на периметре КПП Checkpoint Charlie.</p>

1952	<p>Март – первое, по словам автора “Bobrowski-Chronik” Э. Хауфе, «сарматское» стихотворение: «Города видел я на пылящем/ ветру...», – позднее переработанное в «Под каймой ночи» [Unter dem Nachtrand]. Начало «пейзажного проекта».</p> <p><i>23–25 мая – провал Пауля Целана на чтениях «Группы 47» в местечке Ниндорф (Шлезвиг-Гольштейн).</i></p> <p>30 мая – открытие «Немецкой выставки искусства книги» в Лейпциге. Июль – пишет свободным ритмом «Старопрусскую элегию» (в более поздних редакциях «Прусская элегия»). Из письма Отто Баеру: «Буквально: то, что волновало меня в 1942-м, дождалось этого года».</p> <p>28 ноября – рождение дочери Ульрики.</p>
1953	<p>«Я живу из/по милости» (в письме Вернеру Цинтграфу 13 февраля); преобладают стихотворения об художниках и их искусстве.</p> <p><i>16–17 июня – т. н. «Берлинское восстание»: массовые антиправительственные выступления в масштабе всей страны, вызванные повышением цен и норм выработки, жёстко подавленные Советской Армией.</i></p> <p>Июнь – Бобровский с семьей и родителями переезжает в дом на Ахорналлее 26 (район Фридрихсхаген).</p> <p>Знакомство с Эдит Клатт; врачом и писательницей с полуострова Дарс.</p>
1954	<p>21 апреля – попытка напечататься в журнале Akzente (Мюнхен); в сопроводительном письме в редакцию Бобровский ссылается на Ину Зайдель и публикацию в Das Innere Reich, что, по словам одного из редакторов, как раз и заставило его воздержаться от более близкого знакомства с текстами.</p> <p>Осень: издание Люси Грошер под редакцией Бобровского: «Прекраснейшие саги классической древности» Густава Шваба.</p>

1955	<p>Начало дружбы с Эрихом Арендтом и Петером Хухелем.</p> <p>Июль – публикация 5 стихотворений (в т. ч. «Прусской элегии») в № 4 берлинского журнала Sinn und Form [«Смысл и Форма»] под редакцией Петера Хухеля; в дальнейшем – еще 6 прижизненных публикаций. Реакция – «определенно ледяное молчание».</p> <p>Декабрь – издание Люси Грошер: «Легенды о Трое и о странствиях и возвращении Одиссея» Густава Шваба.</p>
1956	<p>29 января – образование библиофильского «Общества Пиркгеймера», членский билет № 9.</p> <p><i>14–25 февраля – XX съезд КПСС, завершившийся выступлением Н. С. Хрущева с закрытым докладом «О культуре личности и его последствиях»; формирование в ГДР антисталинской оппозиции.</i></p> <p>27 мая – стихотворение «Сарматская равнина».</p> <p>1 июня – излагает Петеру Хухелю идею написания «Сарматского дивана» (по аналогии с «Западно-восточным диваном» И. В. Гете), «в котором земли от Вислы до Урала, со своими народами, историей и ландшафтом обретут примерные очертания». После смерти Бобровского среди бумаг обнаружится вырванная из Большого Брокгауза карта с нанесенными на нее границами «зон»: (1) Восточная Пруссия; (2) Балтийские страны; (3) Россия вплоть до Черного моря и Урала; (4) Польша; (5) зона к западу от Польского коридора, заканчивающаяся линией отрыва – первые 4 зоны Бобровский, вслед за Птолемеем, называл Сарматией.</p> <p>Июль – Петер Хухель отбирает 5 стихотворений для общенемецкого лирического ежегодника (Гамбург, 1956/57).</p> <p><i>23 октября – начало т. н. Венгерской революции 1956 года, подавленной в ноябре советскими войсками, сопровождавшейся самосудами и закончившейся массовыми арестами и казнями; министр культуры ГДР Иоганнес Р. Бехер строит планы по спасению Дьёрдя Лукача.</i></p>

1957	<p>15 мая – Великобритания впервые испытывает водородную бомбу на островах Рождества в Тихом океане (и, хотя устройство оказывается значительно слабее советских и американских аналогов, объявляет об успехе операции). Сентябрь – стихотворение «Трассы птиц», написанное под впечатлением опубликованного 1 сентября сонета Стефана Хермлина «Птицы и испытания».</p> <p>7 октября – рождение сына Юстуса.</p> <p>25 октября – публикация в газете Neues Deutschland, обвиняющая Манфреда Билера, будущего близкого друга Бобровского, в принадлежности к «группе Ханса Майера и Эрнста Блоха», повлекшая за собой исключение из Союза немецких писателей.</p> <p>Декабрь – первый контакт с Петером Йокострой. 29 декабря – «Я вновь читаю Мёрике и Айхендорфа, причем Клопшток кажется мне более авангардным, чем многие современники» (Хансу Рике). «Я [...] присягнул музыкантам раннего барокко, любекским старикам...» (о Букстехуде).</p>
1958	<p>С марта – череда безуспешных попыток издать «Сарматский диван» целиком. 16 июня – отказ издательства Rütten & Loening (Берлин).</p> <p>Начало июня – впервые проводит отпускную неделю на побережье в гостях у Эдит Клатт. Начало июля – покупает подержанный клавикорд «Нойперт» у фридрихсхагенского кантора.</p> <p>Декабрь – на несколько недель приезжает Герхард Фетт с сыном.</p>
1959	<p>Начало года – переезд родителей в квартиру в том же районе.</p> <p>6 февраля – цитирует Гамана в письме Петеру Йокостре: «Любой еврей для меня – непостижимое чудо...». Май – сценарий научно-популярного фильма для студии DEFA.</p> <p>11 мая – начало переписки с Понтером Бруно Фуксом. S. Fischer Verlag (Франкфурт-на-Майне) не принимает к публикации сборник стихотворений. 21 мая – пишет Петеру Йокостре о сборнике Пауля Целана «Решетки речи» [Sprachgitter, 1959]: «Не бывает гениальности, которая выражала бы себя стерильно, если хочешь: сухо, аскетично. Кроме того, не такой уж он и самоотрешенный. При нем и сейчас разнообразные изысканные парфюмы...».</p>

1959	<p>Июнь – первое публичное послевоенное чтение на ежегодной т. н. «Писательской встрече Восток – Запад» Евангелической Академии Берлина и Бранденбурга на Вайссензее («Вильна», «Родина художника Шагала» и др.). 14 июля – Южно-немецкое радио (Штутгарт) транслирует 8 стихотворений. Август – 8 стихотворений в евангелическом ежемесячнике Eckart (Виттен//Берлин).</p> <p>Сентябрь – Бобровский занимает должность шеф-редактора в Union Verlag. Октябрь – «Я не позволю поставить на себе клеймо восточного немца, но еще меньше ‘скрытого западного’. Либо я делаю немецкую поэзию, либо изучаю польский» (Петеру Йокостре). Первая встреча с Максом Хельцером.</p> <p>С ноября – периодические публикации в ежедневной газете ХДС Neue Zeit. Декабрь – 2 стихотворения в западноберлинском журнале Alternative.</p> <p>Конец декабря – ультиматум самому себе на следующий год: «Если до тех пор не будут опубликованы важнейшие вещи, прикрываю поэтическую лавочку бесповоротно. Нечего душить ни себя, ни публику. И никаких трагедий».</p> <p>Carl Hanser Verlag (Мюнхен) – отказ.</p>
1960	<p>10 января – первый визит поэта и художника из Западного Берлина Кристофа Мекеля (вместе с художницей Лило Фромм): завязывается еще одна из «трех надежных дружб» (Мекель, Фукс, Хельцер). Кристоф Мекель берет у Бобровского стихи для своего издателя Генриха Эллермана и редактора журнала Merkur (Штутгарт) Иоахиму Морасу.</p> <p>22 января – читает в Западном Берлине (в присутствии Иоганны) в ресторане «Макс и Мориц», в частности, портретные и «еврейские» стихи. «Еще удивительнее, что моя концепция ‘Сарматского дивана’ им явно импонирует» (из письма Петеру Йокостре 26 января).</p> <p>Февраль–март – участие в Лейпцигской книжной ярмарке (в дальнейшем – регулярное); появление новых контактов. 28 марта – уклончивый ответ Эллермана. 7 апреля – отправляет дополненную рукопись поэтического сборника Иоахиму Морасу, который пересылает ее в Deutschen Verlags-Anstalt (Штутгарт).</p>

1960	<p>4 мая – вступление в ХДС (ХДС – марионеточная партия, входящая в руководимое Социалистической единой партией Германии правительство).</p> <p>Июнь – первые опыты в прозе. Июль – 2 стихотворения в Merkur.</p> <p>Сентябрь – участие во Франкфуртской книжной ярмарке; 22 сентября – Ханс Вернер Рихтер впервые приглашает Бобровского на чтения «Группы 47» 4–6 ноября в баварском Ашаффенбурге: успех, знакомство с Ингеборг Бахман, Гюнтером Грассом, уроженцем Элка Зигфридом Ленцем.</p> <p>23 ноября – стихотворение «Приметы ненастья» [Wetterzeichen].</p>
1961	<p>22 февраля – первый поэтический сборник «Час сарматов» [Sarmatische Zeit] с обложкой Гюнтера Бруно Фукса выходит в DVA.</p> <p>25 марта – смерть Иоахима Мораса. «Открытие, что жизненная, так сказать, высота взята [...] с этих пор курс на смерть», – в письме Максусу Хельцеру. Конец июня – ему же: «И вот пробую себя в прозе. Это горькое занятие...»</p> <p>22 февраля – первый поэтический сборник «Час сарматов» [Sarmatische Zeit] с обложкой Гюнтера Бруно Фукса выходит в DVA.</p> <p>25 марта – смерть Иоахима Мораса. «Открытие, что жизненная, так сказать, высота взята [...] с этих пор курс на смерть», – в письме Максусу Хельцеру. Конец июня – ему же: «И вот пробую себя в прозе. Это горькое занятие...»</p> <p>11 августа – стихотворение «В потоке» [Im Strom]. 12 августа – рецензия на сборник в Neue Zürcher Zeitung.</p> <p>13 августа – начало возведения 155-километровой Берлинской стены.</p> <p>Октябрь – Бобровский пропускает «внутреннее» заседание «Группы 47» в охотничьем домике Герде под Люнебургом. Ноябрь – сборник «Час сарматов», в простой черной обложке и с добавлением исключенной DVA (по причине якобы избыточного акцентирования слова Volk, народ) «Прусской элегии» в Union Verlag.</p>

30 января – стихотворение «Тенеземье» [Schattenland], вошедшее в посмертный сборник. Март – второй и последний прижизненный сборник стихотворений «Тенеречь» [Schattenland Ströme] с обложкой Кристофа Мекеля в DVA.

Вместе с Манфредом Билером Бобровский, по аналогии с «Кружком поэтов Фридрихсхагена» конца XIX века, основывает «Новый кружок поэтов Фридрихсхагена» с шуточными статутами: «Почва поэтического кружка Фридрихсхагена – это земля Фридрихсхагена, а задача – развитие и поддержка высокой литературы и высокого пьянства...»; Понтер Бруно Фукс – почетный член, Клаус Вагенбах (до 1964 года – редактор S. Fischer Verlag) – член-корреспондент.

Май – первая публикация прозы в Sinn und Form (№ 2). Признание Венской премии Альмы Иоганны Кёниг (6 тыс. шиллингов за стихотворение «В потоке»; поездка в Вену в июле)

Июнь – планирует поездку в Москву с Кристофом Мекелем.

1–2 июня – т. н. Новочеркасский расстрел: подавление силами армии и КГБ забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, вылившейся во всеобщую демонстрацию.

Август – решение Петера Хухеля с начала следующего года уйти с поста редактора Sinn und Form. Конец сентября – письмо Кристофу Мекелю о том, что проза «занимает место в треугольнике Роберт Вальзер – Исаак Бабель – Генрих Зудерман».

Октябрь – начало работы над «Мельницей Левина».

10 октября – начало скандала с журналом Spiegel [Spiegel-Affäre], вызванного публикацией ряда критических материалов о коррупции в министерстве обороны, а также статьи под названием «Условно обороноспособны», что стало поводом для захвата редакции спецназом минобороны, однако в конечном счете привело к отставке министра.

16–28 октября – т. н. Карибский кризис: напряженное дипломатическое и военное противостояние между СССР и США, спровоцированное размещением Соединенными Штатами ракет средней дальности в Турции в 1961 году и ответной секретной переброской на Кубу советских ядерных ракет.

1962	<p>26 октября – участие в чтениях «Группы 47» в отеле «Старое казино» на Ванзее («Аир», «Тенеземье», «В потоке», «Волжские города» и др.). 28 октября – узнает от Клауса Вагенбаха и Ханса Магнуса Энценсбергера о присуждении премии «Группы 47» (7 тыс. марок за «приглушенную ландшафтную лирику редактора восточно-берлинского издательства [...], единственного подходящего автора по ту сторону Стены...»).</p> <p>2 декабря – выступление на конференции ЕАББ с докладом «Названная вина – преодолена?» [Benannte Schuld – gebannte Schuld?] и тезисом: «Литература безвластна...»</p>
1963	<p>15–21 января – VI съезд СЕПГ: курс на победу социалистической идеологии в обоих государствах, кампания против «идеологического сосуществования».</p> <p>25–27 января – конференция ЕАББ на тему «Язык в техническую эпоху». Функционеры усматривают здесь «возможность для западногерманских кругов распространить таким образом на нас свое влияние»; следует резкая критика со стороны руководства ХДС.</p> <p>9 марта – членский билет Союза немецких писателей.</p> <p>Апрель – впереди роман, который «потребует трех лет». В смысле прозы «мое место как раз между Робертом Вальзером, Арно Шмидтом и Зудерманом» (соиздателю Merkur Хансу Пешке 10 апреля).</p> <p>Конец мая – Union Verlag издает «Тенеречь» в серой обложке. 11 июня – Макс Хельцеру: «Контакт с Тобой – самое верное из того, что у меня есть». 18–19 июня – участие в Плениуме президиума главного правления ХДС в Веймаре: речь «Сосуществование и разговор».</p> <p>Июль – завершение романа «Мельницы Левина».</p> <p>Октябрь – пропускает чтения «Группы 47» в Заульгау (Баден-Вюртемберг) по причине несвоевременно выданного разрешения на выезд.</p> <p>С ноября – «предварительный» оперативный подход Штази под кодовым названием «Кленовый круг» [Ahornkreis]; 4 ноября – унтер-лейтенант Вайспфлог: «Лицо, которое желательно взять в разработку, имеет враждебное отношение к руководству нашего государства и желает его устранения...»</p>

1964	<p>Январь – «...страх перед посетителями [...] четыреста писем без ответа...». Признаки болезни сердца. Февраль – «Почитай седьмую неделю я болен» (Максу Хельцеру). Апрель–июнь – работа над «Бёллендорфом».</p> <p>6 июня – Ханс Вернер Рихтер приглашает Бобровского и Билера на чтения «Группы 47» 10–19 сентября в Сигтуне под Стокгольмом. 15–24 июня – поездка в Финляндию; участие в Международном семинаре молодых финских писателей, критиков и художников под эгидой Общества Эйно Лейно на тему «Автор и мораль»: знакомство с Джеймсом Болдуином, Айрис Мёрдок, Гарольдом Пинтером.</p> <p>14 июля – переезд Клауса Вагенбаха из Франкфурта-на-Майне в Западный Берлин.</p> <p>14 августа – рождение сына (Карла) Адама.</p> <p>20 сентября – Фредерике Майрёкер из Вены просит Бобровского замолвить за нее словечко в издательстве Luchterhand. 15–23 сентября – из 5 приглашенных на стокгольмскую неделю «Группы 47» писателей ГДР лишь Бобровский – по настоянию госсекретаря по вопросам религии – получает 14 сентября разрешение на выезд; две встречи с Нелли Закс (она называет его «братом»).</p> <p>Конец сентября – параллельные издания «Мельницы Левина» в Union Verlag и S. Fischer Verlag с предпубликацией (частичной) в Neue Deutsche Literatur и во Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 15 октября – подписывает более 200 книг в рамках чтения рассказов в Немецкой Государственной библиотеке.</p>
1965	<p>Февраль – 2-е издание «Мельницы Левина» в Union Verlag. 5 февраля – участие в чтениях поэтов ГДР и Западного Берлина в Академии искусств Западного Берлина; спор с Пюнтером Грассом во время дискуссии. Замысел военного романа; перевод 3 стихотворений Бориса Пастернака.</p> <p>Март – по приглашению Анны Зегерс работает над подготовкой Международной встречи писателей (Берлин//Веймар) 14–20 мая; предлагает пригласить Нелли Закс. 28 марта – премия Генриха Манна Немецкой Академии искусств в Берлине (10 тыс. марок).</p>

1965	<p>6 апреля – вместе с Гюнтером Грассом «открывает» издательство Клауса Вагенбаха в Западном Берлине (в его же собственной квартире). 14 апреля – рекомендует принять в Союз немецких писателей барда и диссидента Вольфа Бирмана (без ведома последнего).</p> <p>Май – в Западном Берлине, в издательстве Клауса Вагенбаха выходят «Мышиный праздник и другие рассказы». 24 мая – Интернациональная премия Шарля Вейона (Цюрих) за роман «Мельница Левина» (5 тыс. франков).</p> <p>28 июля – Бобровский заканчивает рукопись романа «Литовские клавиры». 30 июля – его кладут в больницу с диагнозом «прободной аппендицит». Август – «Бёллендорф и другие» в DVA. 2 сентября наступает смерть в результате развития сепсиса и кровоизлияния в мозг; похоронен на Евангелическом кладбище Фридрихсхагена.</p> <p>В том же месяце Union Verlag издает сборник рассказов «Бёллендорф и Мышиный праздник»</p>
1966	<p>В Union Verlag выходят сборник стихотворений «Приметы ненастья» и роман «Литовские клавиры».</p>
1967	<p>Клаус Вагенбах издает «Приметы ненастья» и «Литовские клавиры»</p>

*Бог был испуган,
Ведь остался лишь миг
До раскрытия главного таинства
Алгоритма божественного акта создания...*

Борис Бартфельд,
«Мнимое время Минковского»

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ – МНИМОЕ ВРЕМЯ

Сергей Морейно

I

Восточно-прусский писатель Иоганнес Бобровский (*1917, Тильзит; +1965, Берлин) относится к людям, которые умеют принести спокойствие в любую ситуацию. Слово «гнев» – и то он произносит в своих стихах спокойно. Таких людей было немало в те годы, даже если говорить лишь об одном регионе. Но фигура Бобровского удивительна тем, что он был поэтом: не пастором (как Ханс Иоахим Иванд), не врачом (как Ганс фон Лёндорф), не общественным деятелем (как Марион фон Дёнхоф), не конспиратором (как Дитрих Бонхёффер), а простым поэтом – и солдатом.

Всматриваясь в два десятилетия существования «послеверсальского мира», видишь, что многое из произошедшего в этот период можно было бы без особой натяжки назвать сплошным «игилом» (запрещенная в России террористическая организация). Но только на сегодняшний взгляд, немного сверху и как бы издали. Наверное, и там и тогда люди испытывали опасения, имели предчувствия, но до чистого ужаса до поры до времени не происходило.

Идея Сарматской равнины, оказавшаяся для Бобровского спасительной, поскольку дала ему психологическую точку опоры, проходит через все его зрелое творчество. Образ Schattenland Ströme: «Тенеречь»,

земля-память, земля-символ. Oceanus Sarmaticus — Сарматский океан — так на картах Птолемея обозначалось Балтийское море, омывающее край, по которому текут Нямунас-Мемель и Даугава-Двина-Дюна. Кровь ливов и латгалов, тевтонов и пруссов, жемайтов и евреев.

II

Бобровский рос там, где — по его словам, — «...немцы звались Каминскими, Томашевскими и Коссаковскими, поляки же Лебрехт и Германн. Именно так оно и было» («Мельница Левина»). В Кафедральном соборе Кенигсберга обучался игре на органе, в Берлинском университете изучал искусствоведение. В хронике его жизни читаем: «1941 год, июль—август. Через Кандаву, Лудзу, Опочку, Пустошку, Порхов, Дно и Шимск к северно-русскому озеру Ильмень...» Затем следуют четыре года советского плена (Новошахтинск, Новочеркасск, Талицы) и возвращение в 1949 году к семье — в ГДР.

Я очень долго не мог найти связующий элемент, объединяющий соседские характеры и судьбы, пока, не без помощи Бобровского, не понял: мы — дети плоской земли. Между Альпами и Гарцем, Татрами и Кавказом; всё, что есть у нас вертикального — это шпили построенных предками соборов и движение нашего голоса.

Голос над Сарматской равниной — отсюда столько гор в поэзии. Хотя в какой-то мере эти горы реальны: холмы по пути из Тильзита в Гердаун/Железнодорожный, Юденберг недалеко от Моцишек, Рамбинас, к тому времени уже осыпавшийся после взрыва жертвенного камня — там, где Неман делает петельку в форме слезы...

«В нескольких километрах вниз по течению Мемеля от точки впадения Юры, на правом берегу стоит легендарный Рамбинас [*Rombinus, Rambynas*], некогда языческая святыня. И с ней связаны важнейшие переживания школьных лет в пейзажах Мемельланда. [...] Где бы ни упоминалась — позже — в стихах или в прозе черная гора у реки, это всегда Рамбинас...» (Эберхард Хауфе, «Предисловие к 4-томному собр. соч. 'О жизни и творчестве Иоганнеса Бобровского'»).

III

«Пускай семья и жила в Тильзите только до 1925 года, Бобровский еще/уже в 1946 году, в плену, убедительно воспел город как 'оте-

ческий' [*Vaterstadt*]. И самым сильным впечатлением от него — для ребенка, а после для юноши, в поездках и путешествиях, — на всю жизнь остался Мемель. 'По пажитям течет поток могучий' [*Gewaltig geht der Strom durch seine Triften*] — такова хвалебная песнь Тильзиту. 'Потоком' [*der Strom*] проживавшие в районе дельты Мемеля немцы называли реку, никто не говорил 'Мемель'» (Э. Хауфе, там же).

Шутят, что у антилоп плохая память и между водопоями они забывают о существовании крокодилов. Люди издревле обожествляют реки и, по-моему, лишь от паводка к паводку вспоминают, что мир рек — это мир потенциальной катастрофы. Ориентированность на их русла, «потокцентричность» означает, в конечном счете — кроме эстетической привычки, — неверие в возможность черпать энергию рек вне самих рек, беря ее отовсюду; тогда перекрытие доступа к рекам отрезает человека от энергии пересекаемой ими местности: пережимается «аорта» циркуляции времени.

Э. Хауфе (всё там же): «После Первой мировой войны Мемель вверх по течению [*om устья*] до Смалининкай [*Schmalleningken*] превратился в рубеж между Германией и Литвой; мост королевы Луизы — невралгическая точка как для немецких, так и для литовских националистов, — вел/уводил за границу». Едва Бобровский успел пойти в школу, как Мемельланд становится Клайпедским краем, а правый берег Мемеля [*Немана*] оказывается под суверенитетом соседнего государства. Скрученный пружиной нерв пограничных зон и кровных связей разожмется впоследствии в его стихах; столетия и страны, напротив, всеми складками плотно прильнут друг к другу и, образовав то, что называют пространственно-временным континуумом, зазвучат.

Тенеречье — земля распределенного звука: степи, моря, реки, леса, «урчащих интерференций, там, куда дует ветер, осторожно ль/засвистит, шквалом зайдется, откатит, посвежеет иль стихнет,/прошуршит словно флауш или пепельно-серо замолкнет во мгле...» (Хендрик Джексон [*Rauschen*], пер. А. Филлоты).

IV

Тенеречье — земля распределенного во времени горя.

В парадигме сарматского ландшафта (природного, исторического, культурного) Восточная Пруссия — метафора

многократно возводимой в степень гибели. На просторах Сарматии он слушает эхо, ищет отголоски тех, кого нет. Строки подобны вспышкам стробоскопа – свет искупления разрывает завесу забвения.

Удивительность Бобровского и в том, что он решается остаться собой, не впадая в самобичевание и не выводя себя в жертвы.

Полезно сравнить двух художников: Бобровский Иоганнес и Целан Пауль, лед и пламень. В простейшей схеме взаимоотношений добра и зла (хорошие «мы» – плохие «они») Целан явно держит сторону добра: он, роющийся в окружении надзирателей канавы под Бухарестом, – очевидный истец. Бобровский (связист Вермахта, железный крест второго класса) – однозначно ответчик.

Кто из них видел и вынес больше тьмы?

Иногда чувствуешь, что твоя личная неправда – это проекция какой-то другой неправды, которая где-то там – выше? глубже? – может вовсе и не быть неправдой. В своих поисках многоуровневой и разноэтажной правды Бобровский молчалив и не так звонок, как Целан. Переводчику бывает нелегко перейти от Целана к Бобровскому: ведь жалоба и плач истца эффективнее, чем своего рода попытка оправдания.

Сумасшествие Целана – защита от шока прикосновения. Бобровский лишен защиты, он вынужден оставаться «нормальным» и, как ответчик, находится в изначально невыигрышной позиции – по крайней мере до тех пор, пока последнее слово не произнесено. Тогда может оказаться, что роли переменялись: у Бобровского чрезвычайно важно первое слово (переведешь его – и поймашь «волну!»), а у Целана – именно последнее.

Между ними ячейки языковой решетки [*Sprachgitter*] – мягкой решетки, – сети.

V

Дм. Григорьев рассказывает вполне реальную историю (Facebook, 21.05.2015):

«Калининград – Тильзит.

Солнечные поля рапса вдоль дороги, красные лепестки черепичных крыш, на заднем сиденье автобуса, полного поэтов, бестелесный Иоганнес Бобровский едет домой.

Поэты говорят о проблемах перевода. [М.:] Слова Бобровского *Schattenland Ströme* переводят как ‘Реки земли теней’ или ‘Земля теней и рек’, но между словами нет запятой, и к тому же ‘реки земли теней’ это *Strömen des Schattenlandes*.

[Ф.:]* Можно уйти от родительного падежа, есть же например, Лесогорье. [М.:] Тенеземлеречь. [Щ.-Ж.:]** Тенеречь... [М.:] Как вам?

Я пробую слово ‘тенеречь’, и автобус останавливается у моста королевы Луизы, у реки, разделяющей страны, где таможня и очередь машин – воплощение проблем перевода. Я пробую: Тенеречь, там живет королева Луиза, очаровавшая всю Пруссию, но не маленького капрала, что стал ‘вошным холстом, с которого скатывались все капли ее оболъщения’. Она бродит по липовым аллеям, синий огонь васильков в ее руке...

Неман моей немоты – далеко другой берег».

VI

Не буду утверждать – да и откуда бы у меня такое право? – что в немецкой литературе Иоганнес Бобровский является автором «первого ряда». Тем более, что привычка расставлять авторов по рядам в целом несколько глуповата и искусству перцепции, в отличие от искусства стихосложения, не приличествует, – но тем более. Тем не менее, вселенная, в которой оказываешься, если даешь себе труд открыть ведущую туда дверь, имеет высокий ранг неповторимости. По-моему, это как раз в высшей степени тот случай, когда за границей, на которой, по словам Пастернака, «кончается искусство», сразу же приходят в действие легкие «судьбы» и «почвы».

Я догадываюсь, что сводить запредельное существование той же поэзии, скажем, к дыханию почвы и судьбы опять-таки глуповато, если не опасно; по ту сторону необходимо должно развиваться что-то еще: к примеру, любовь (любые ее

разновидности) и т. д. Однако в случае Бобровского почва и судьба растворены во временах и пространствах настолько протяженных, что можно предположить — любовь в свою очередь растворена в почве и судьбе и «склеивает» их пространственно-временные проекции — от IV века н. э. и до наших дней, от Стокгольма и до Новошахтинска.

Итак... — и на этом я хотел бы прервать свои попытки отнесенительной гладкописи. «Дальше не тишина но то что надлежит [Фортинбрасу]...» — скажет Збигнев Херберт в год закладки Берлинской стены или за пару лет до того; нет, «...остальное — фрагменты,/ вполголоса,/ зачатки мелодий из окон дома напротив,/ спиричуэлз/ или же Аве Мария», — скажет Готфрид Бенн десятью годами раньше.

* * *

1.

Итак, пограничье.

Долгий постверсальский *относительный* покой определяет мир И. Б. не меньше, чем влияние И. Г. Гамана. В то же время прусский мужчина постоянно готов к войне (как, наверное, и русский — тогда?). Если бы надо было охарактеризовать Бобровского двумя словами, я сказал бы: культура и пограничье. Не культура пограничья, но как раз по отдельности, и именно в связи с типом художника, а не местом жительства.

В Курляндском котле, в шахте Донецкого бассейна, в редакции Union Verlag непосредственно над «полосой смерти» [Todesstreifen] он каким-то образом умудрялся оставаться внутри текста, картины, фуги. Культура создает «зоны комфорта», на границах которых в свою очередь возникает напряжение. Художник сталкером проникает из одной зоны в другую; даже если кажется, что никакой границы нет, в каком-нибудь из параллельных миров он ее пересекает. Решить художественную задачу — означает создать безопасный переход через одну из границ.

«Жизнь как Чекпойнт Чарли», — скажу я.

2.

Часть этих переводов сделана в Швейцарии, в Доме переводчика. Как-то раз я поехал на велосипеде в привокзальную лавочку. Срезая путь, я свернул на дорожку, езда по которой даже на велосипедах была запрещена. Мне всего-то хотелось проскочить по ней не больше полукилометра – минуты за три. Воскресенье, повсюду гуляющие, какой-то старик в ковбойской шляпе шел со своею старухой. Я аккуратно объехал их, но он, увидев меня, замахал мне вслед руками и закричал «фа-арфербо-от!» Обычно швейцарцы, видя, что кто-то поступает неверно по незнанию – а я ехал по незнанию, просто не заметил знака (решил не замечать), – улыбаются особым образом, этот же заорал...

«Ах ты, сука, – подумал я, не вылезая из своих переводов – отсиживался, гад, пока мы воевали!» Конечно, это была чушь, ничего подобного в мыслях я (т. е., Бобровский) не держал, просто обидно – хотя это ему должно было быть обидно: он всю жизнь проходил тут пешком, и на тебе – какой-то хмырь решил пролететь на велосипеде. (Он ведь и ответить мог моим «мыслям» – сами заварили свою кашу, самим и расхлебывать). Однако потом я подумал – я-то могу оказаться прав! Как ежика нельзя причесать, так и ойкумену нельзя привести в состояние покоя; кто-то обязательно принимает на себя турбулентность, а кто-то, само собой, стрижет купоны.

3.

{Кстати.

Восточная Пруссия – страна теней и рек.

Швейцария – страна гор и ручьев, Ручьегорье.

Тени и реки бегут. Горы и ручьи прыгают и застывают.}

4.

Элементы детской вселенной – конструктор LEGO для построения мира взрослых ценностей. Дерево на лугу, идущие через рощу коровы, излука реки, окно, крыльцо: такие простые и лишённые протяженности вещи, обязательно легко стыкующиеся между собой для образования пространственных конструкций наподобие спиралей

ДНК. Вселенная Бобровского достаточно «леголизована»; я вижу его не поэтом любви и надежды, но поэтом внимания и понимания. Он разнимает на фрагменты картину (случившегося, случающегося) — фрагменты эти необычны, — как бы пытаюсь понять, отчего именно данная комбинация привела (ведет) к крушению.

И приведет ли в будущем?

Прецизионный поэт, он вооружен скальпелем и микроскопом, в отличие от Целана, орудующего рубанком и топором (разве что Целан работает без железа — как строили Храм). Отсюда и «техника называния» (инфинитивы, номинативы) — чтобы извлечь кубики-молекулы мира неповрежденными и вне межмолекулярных связей. «Называние», «именование»: воздержание от метафизических заявлений в поэтической форме, опозитизированных и в силу этого претендующих, как речь с кафедры, на истинность и окончательность. Фактически, это техника разделения [wyodrębnienie, Auseinandernehmen], вернее, в силу бережности отношения — приоткрывания.

5.

Бобровский — препарирующий археолог. Протокол Бобровского: его стихи — лишь примечания на полях; текст он оставляет себе.

6.

{Всего два года спустя после смерти Бобровского Жак Деррида пустит в народ*** понятие «деконструкции» [Zerlegung], прагматично объединив известные математикам и музыкантам подходы к выявлению скрытых структурных свойств.

По математике Бобровский не успевал, зато был музыкантом и учился гармонии. Можно сказать, что он занимается гармонической деконструкцией, если таковая возможна в принципе. Разрезать — перекроить — сшить: обязательно сшить.}

7.

Иоганнес Конрад Бернхард Бобровский родился 9 апреля 1917. Через двадцать три года сын повторит схему отца — женится во время войны.

8.

Знаменитое фото в шапочке абитуриента, дожившей до Ахорналее 26, с «альбертинками» [*Albertusnadel*] – нагрудными заколками с портретом Альбрехта/ Альбертуса и надписью CIVIS ACAD: ALB.

Напоминает, честно говоря, узбекского депутата семидесятих-восьмидесятых плюс взгляд – созревшего (когда? едва? всегда?) мальчика – в трансцендентность.

9.

Неточность воспоминания – известный (*почти* известный – добавлю просто на всякий случай) факт. Вообще-то, известный факт – это этаблированная неточность. Пастернак, Целан, Бродский старательно утрируют неточность, насыщая пафосом «рыдающей строфы сырую горечь». Знаменитые афоризмы Пастернака: «и дольше века длится день» (напротив, он сокращается до нуля); «предвестьем льгот приходит гений» («в стиле Бадера – очень веско и на полметра мимо»).

Глядя на мегаравнодушные волны в Раушене/Светлогорске и вспоминая, что «в [*почти*] этих плоских краях то и хранит от фальши...» – нет, не хранит (и вся тевтонско-прусская история тому порукой); что «когда-нибудь оно, а не – увы –/ мы, захлестнет решетку променада/ и двинется под возгласы ‘не надо’...» – да нет, пожалуй, не двинется (хотя образ красив: эсхатологичен).

Всего такого Бобровский стесняется...

10.

Поездки к бабушке и тетке со стороны матери – к Агнес Фрёллиш в Моцишкен и Агате Вицке в Вилкишкен. В середине тридцатых выданную консулатом литовскую визу (уже Рейх!) открывал старшина [*virsaitis, Amtsvorsteher*] Михаэль Буддрус на последнем хуторе прямо за деревней.

Восемь дней после окончания школы и до начала трудовой повинности [*Reicharbeitsdienst*] на «горе Бисмарка» и на болотах в Полесске [*Лабиау*] он проводит в Моцшикен. Обязательно является с паспортом к Буддрусу и, вероятно, видит дочь Иоганну. На первый

взгляд — очень простое, прямое, скромное (непритязательное — позволено будет так сказать?) лицо и тоже взгляд в трансцендентность (одна ли и та же у разных людей трансцендентность?). Дочь стража границ: для будущего «нарушителя границ» (сначала реальных, а потом — трансцендентных) этим все сказано.

11.

Знаменитое фото — без головных уборов, он в форме, она с короткими рукавами и шнуровкой на груди (жилетка поверх платья); под руку, на фоне далеких берез. Солдат. Большая голова. (Стоит. Идет. Встанет. Пойдет.)

— Это был тридцать девятый, нет, нет, сороковой это был, — Иоганна. — Да, это был сороковой. Да-да, его бабушка еще жила здесь.

12.

16 ноября 1942 рисунок друга Отто Бера [Ваег]: вверху надпись «Бесконечная Россия». На картинках ужас — еще довоенный ужас воплощенной дикости для «культурного» немца. Письмо к Ине Зайдель 30 марта 1943:

— Первое, чему мы здесь учимся, это видеть [*das Sehen*].

13.

Что видит Бобровский, когда попадает в Россию — в Псков, Новгород? Обезглавленные еще до войны церкви, разъезженные дороги, грязные избы... Культурный шок? Он, уроженец волшебного Тильзита, житель Растенбурга и Кенигсберга (Ostpreußen — житница вся Пруссии!), — так что он там себе думает? Не списывает ли весь этот ужас на войну? А нищие литовские хутора, голодные польские села — были же таковые?

...Сколь же беспочвенны суждения наши — дело в том, что именно в Новгородской и Псковской областях лишь единичные храмы были уничтожены в тридцатые годы (и еще некоторые отданы под дома культуры; София Новгородская была антирелигиозным музеем). Большая часть утраченных церквей была разрушена уже немцами, причем не в самом начале войны...

14.

Мужик в маршрутке: «Я с другого конца области, из степей»
(тяжело в курортном Светлогорске чужаку-степняку).

15.

Весна сорок третьего — «военная свадьба» в Моцшикен.

Фото, подобное тому, сорокового года. Разница — она в подвенечном платье, он — повзрослевший, с глазами удивленной лошади, с немного выгоревшими (но пышными — а ведь война!) волосами. Видна его большая рука — рука солдата.

16.

Знакомство и дружба с лейтенантом Эберхадом Егером. Бобровский передает ему рукописи стихотворений, тот пересылает их своей матери. Фотография 1943 года — Егер играет на органе; короткая стрижка, небольшие залысины над висками (или это стрижка?), одухотворенное лицо. Можно было бы написать вариацию «Отчета».

17.

Другим тебя лучше
воспеть, аборигенам,
здесь игравшим
в прятки и в салочки.
А я явился, чужак,
но приятельский бардак твой
принимаю
без лишних слов;

на стене, разбомбленной
в одну из этих ночей:
«Всё просрано.
Иди к Фриде. Пауль».

(An Berlin [«Берлину»], 1943)

18.

Отец по его просьбе присылает список «Гения будущего» Иоганна Готфрида Гердера.

– Спутана и сплетена лежит
Паутина деяний! Непостижимый счастья клубок
Прядет мне вожатый-время.//
А ныне я пришел
От краснеющего зарева утренних гор
И воспаряю и шлю оперенный взгляд
К надежде на берег!

19.

Отец становится преподавателем машинописи и стенографии в частной торговой школе (его благонадежность свидетельствует берлинский пастор Райнхольд Георге, в прошлом – школьный товарищ сына, восхищавшийся *музицированием* Иоганнеса в Кафедральном соборе – «какая дерзость и какая смелость!»). На фото отец – вылитый литовский актер Регимантас Адомайтис (*1937).

20.

Открытие в плену – Петер Хухель. «Ночь на Хафеле» (впоследствии войдет в сборник «Мои любимые стихотворения»).

– Звезды, зеленея, брезжат/ и стекают по веслу./ Ветер жизни наши нежит,/ как тростинку и ветлу.

«Разумеется, Петер Хухель! В плену я в первый раз увидел в газете его стихотворение, оно потрясло меня невероятно. Оттуда это пошло, рассматривать людей в пейзаже, и так, что по сей день я не люблю необжитого пейзажа. И меня привлекают вовсе не составные части пейзажа, но лишь пейзаж во взаимодействии и как поле деятельности человека» (из интервью FAZ****, 26 мая 1965).

{Пейзаж как средство коммуникации: изменяя пейзаж, люди оставляют послания друг другу, не стираемые веками и даже тысячелетиями.}

21.

— «Я уже достаточно далек от Кенигсберга, — говорит, — так что ни шагу дальше». Поэтому Берлин. Хватит... (Иоганна, жена Иоганнеса).

Знакомство с Люси Грошер.

— Был там десять лет, научился всему. Как делают книги, с самого начала...

22.

Многие вещи, происходящие в империи или совершаемые от лица империи, мы склонны воспринимать как нечто великое и продуманное до мелочей — в связи с тем, видимо, что величие самой империи не вызывает у нас сомнений. Пример — отправка И. Б. из плена домой точно под Рождество, за три месяца до окончания Центральных антифашистских курсов — т. е. досрочно.

Сколь же беспочвенны суждения наши! С. З.^{****} подсказал мне, что могла иметь место амнистия военнопленных к официальному семидесятилетию Сталина (21 декабря 1949); впрочем, доказательств я до сих пор не нашел.

23.

Отчего-то создается ощущение: он хорошо понимает, что впредь будет жить жизнью, придуманной для него другими. Эти другие — не только новая власть, но и родители, жена, дети, которые тоже живут жизнью, придуманной для них другими, для которых тоже кто-то придумал жизнь.

Христианство учит смирению. Тридцать третий год не говорил о смирении, потому что в нем было какое-то поступательное движение; сейчас же самое время подумать о смирении, и Бобровский принимает эту мысль как единственно правильную.

24.

— Так служат редактором, а не чужим господам. Что естественно означает — разделять ответственность за то, что другие

выдают за свое. Но кое-что удастся издать и самому. Густав Шваб, *«Прекраснейшие сказания классической древности»...* *«Ганс Клаверт, Уленипигель Бранденбургской марки»...* Вот оно как у простых людей.

25.

Март 1951 – родилась Иоганна Юлиана. На рисунке пером Отто Бера радостный отец (с трубкой?) подкидывает новорожденную на руках. Портретное сходство: плотного сложения, почти с брюшком, что для ГДР вроде бы нехарактерно...

26.

Пространство Бобровского: после войны оно опустеет, а потом он войдет туда стихами. Метафизика Соломонова храма – разрушить, чтобы восстановить. Литва отстроила заново те же кирхи, но этим закрыла щель между мирами, которая так ощутима в Калининградской области. Исчез ветер, который вдруг задул в просветы идиллического пейзажа из мнимых областей пространства.

27.

Вина Бобровского: «вина» носителя языка, разметившего мир и жизнь в нём тем или иным способом; вина вкусившего от древа познания добра и зла Адама. Он мужественно несет свою вину – внимателен к языку, с ним спит, ест, пьет и творит – им и с ним, хотя есть варианты: отринуть его (отречься от вины) или скрыться в нем (упиться виной, как вином).

Диалог познающего и познаваемого; долг и вина познающего – принцип неопределенностей Гейзенберга: тот, кто на макроуровне познает мир, меняет на микроуровне мировую карму.

28.

Протокол Бобровского: согласно Владимиру Гильманову, он пребывает в поле действия двух падежей, «под ‘винительным’

и 'вокативным' воздействием». Казус Бобровского: *Akk.* [причинный] + *Vok.* [звательный] = вызываемый + вызывающий, т. е., тот, кто будет в(ы)зываем, зовет (сам).

Таким образом он латает прорехи во времени: аккумулятив – указатель на место временной склейки, прямой стежок от одного берега к другому; за ним следует зов – обратный стежок. Он – штопальщик сетей {Майра Асаре: «Что говорит коллеге штопальщик сетей,/ какие важные слова уместны,/ пристали от ячейки до ячейки?»}. Нет иерархии дыр, нет жалости или сожаления; рутинные, будничные действия – он актуален, поскольку не принадлежит никакому времени, но оно может «пользоваться» им.

Ремесленная «работа» со временем, даже не с ним, а с его пробелами, с их зиянием.

29.

«Он пишет в 1952, стало быть, на Бёльшештрассе, 'Прусскую элегию'. Во времена, занятые чем-то совершенно иным. Занятые Брехтом, лабораторными исследованиями, я бы сказала, агитационными стихами. И вдруг является Бобровский с трудным разговором, с пространством, уже отягощенным тяжелейшим бременем, – Восточной Пруссией! Всего лишь недолгое время спустя. Было ясно, что здесь у нас никто не захочет это читать. И в том, что он тогда, в те времена, не отступился от своей темы, было что-то очень важное...» (Иоганна).

30.

Живописное и эстетическое.

Живописное бесполезно (глаз потешить), эстетическое предполагает использование, и в нем есть логика развития. Напрашивается вывод: «Бобровский – эстетичен», но произнести не повернется язык. Однако – не живописен.

И. Б. – «существо порядка», печется о порядке, но – ошибка многих, имеющих дело со временем! – то, что мы теоретически считаем порядком, равно как и то, в чем мы

практически видим порядок, таковым зачастую не является. Напрашивается слово «напротив»: напротив — беспорядок может быть частицей порядка сфер более высокого порядка, нежели предполагаемый нами (к примеру, изгадившие газон кроты могли подгонять этот газон к игре в гольф для клуба мертвых поэтов).

Порядки порядка! — вот как это называется...

Когда И. Б. пишет о гневе, он подспудно говорит и о страхе — перед отмщением.

31.

Чихать, сморкаться, испражняться, в том числе писать и писать: радость избавления едва ли не острее радости приобретения. И. Б. избавляется. Избавление — кого? и от чего? {«сарматская» игра слов}.

32.

Для Бобровского дерево — дуб, береза, бузина — объединяет личное и обобщенное, смертное и бессмертное: «личную» мою березу можно срубить, но ее неприсутствие в дальнейшем восполняют остальные березы. Сравнивая города с деревьями (не с землей), он придает воспоминаниям стойкость.

Стихотворения И. Б. — это шахматная доска, с которой одну за другой снимают фигуры (симфония Гайдна?). Герой — это его, героя, отсутствие, даже их отсутствия: дырочная проводимость как результат перемещения отсутствий посредников между автором и читателем. Поэт-полупроводник действует не как вестник или глашатай, но подобно медиуму — мы сами определяем потоки [*Ströme*] информации внутри текста.

Его речь — это речь шпиона (кодирование-декодирование, редкие выходы в эфир {установить рацию, забросить антенну на дерево, «и-толь-ко-од-на... я-на-гор-ку-шла...»}), теневого [*Schatten*] шпиона в астральном теле: Сарматия — это место, где его нет. Тенеречь — это вывернутые наизнанку места, где

он есть (а иначе причем здесь Сарматия? – он ведь о ней почти не пишет).

Исследование языка в молчании.

Обратный отсчет, «минусовая» инвентаризация.

Поэт – минус-поэт.

33.

– Когда всё шло плохо, – Кристоф Мекель, – он садился за клавикуорды и обретал покой в Гайдне и Букстехуде, присутствие друзей ему не мешало.

34.

Итак.

Еще раз.

Тенеречье = Schattenland Ströme.

Sarmatische Zeit = Час сарматов, Wetterzeichen = Приметы ненастья, но первый и третий томики странным образом вторичны, будто приквел и сиквел, будто «отражения» Амбера, в то время как сам «Амбер» – это книжечка о тенях. И. Б. странствует тенью по Сарматии – вернее, И. Б. странствует по теням Сарматии. В мнимом времени, которое, в отличие от действительного, не ограничено ни слева, ни справа – ни прошлым, ни будущим.

Бобровский и время – при переводе приходится менять положение камеры не в пространстве, но во времени.

35.

Лабиринт Бобровского: Даубас?

«Даубас – это кусок мемельского берега неподалеку от Рагнита [*Неман*], с парой деревень и лесом, расположенный между моим родным Тильзитом и деревнями моего детства, в которые я возвращался благодаря своей женитьбе. В целом имеется в виду вся моя ситуация. Каждый из этих снов местом действия имеет мой ландшафт. Самое близкое стихотворение изо всех, что я написал» (Георгу Бобровскому, 1957).

36.

Вторая дочь Ульрика, большая семья, переезд: Ахорналлее [Кленовая аллея], немного деревни в большом городе, сад с фруктовыми деревьями.

– Ein stiller Ort, wie lauter Grün [*тихое место, как чистая зелень*], – а хочется написать Gold: как чистое золото, – между Мюнгельзее и Рансдорфским лесом.

(Правда, луга, на которых можно было по утрам «топтать росу», застраиваются домами для «пришлых»...)

37.

Он переписывает от руки и вносит в «Мои любимые стихотворения»^{*****}, которые Union Verlag издаст в 1985 году, «Летнюю ночь» Клопштока (1766):

– Когда сияние луны проливается вниз/ на леса, когда ароматы/ с привкусом липы/ веют в прохладе;// То омрачают меня мысли о могиле/ Влюбленных...

Очень компактный письменный стол...

Сын Юстус вспоминал, что отец поначалу делал наброски на больших листах бумаги, затем они становились меньше, почерк – убористей, пока, наконец, не достигли размера 5 на 10 сантиметров, и он всегда мог взять их с собой.

38.

«О своих стихах он говорил сдержанно.

Пришло время первых визитов во Фридрихсхаген. [..]

Бобровский читал нам «Немецкий словарь рифм», мы хохотали до слез, были глупо счастливы, он предлагал еду, шнапс, пиво, вино, кому чего желалось, он пил и ел вместе с нами до самого раннего утра, а наутро сохранял всё ту же неисчерпаемую, лукавую веселость, что и вчера вечером, так что новый день, особенно его первые хмурые часы, благодаря ему и его близким всецело, я бы сказал, исполнялись какой-то щедрости» (Пюнтер Бруно Фукс).

39.

Томас Манн, писавший в Раушене «Марио и фокусника», — едва ли не последний из писателей, «пользовавшихся влиянием» в привычном смысле слова, т. е. оказывавший на читателя прямое «внешнее» воздействие: эстетическое и этическое. В современной информационной обстановке культурные слои так быстро наползают друг на друга, что растворяют предыдущие. Художники уходят на внутренние задачи, чтобы где-то на глубине расцепить десятилетия и века, вину и вину (надежду и надежду).

Пруст, изолированный от мира в своей пробковой комнате, — «в поисках утраченного во времени». И. Б., изолированный от «страны детства и юности» Сарматии, — в поисках утраченного пространства.

40.

Стихи Бобровского инвариантны относительно преобразований XX века — целого ряда переходов из одной неинерциальной системы координат в другую.

Его «холодный» текст можно пробовать — с перерывами — несколько раз, и внутренний вкус только насыщается. Текст «второго дня» — по аналогии с супом.

41.

В пятидесятые «исчезновение» целого слоя людей (евреев, цыган) даже бывшему солдату может начать казаться вопиющим, зияющим — отсюда, вероятно, цитата из Гамана: «Любой еврей — это непостижимое для меня чудо, без которого я не могу жить» (6 февраля 1959, письмо Петеру Йокостре).

[Первоисточник: «Чудом из чудес божественного провидения, промысла и государственной мудрости — в большей степени, нежели Ноев ковчег, Лотова жена или горящий Моисеев куст, является для меня любой еврей», Гаман Гердеру 1 января 1780.]

Хотя, по идее, сознание этой потери могло бы и притупиться, особенно в ГДР. Получается — библейский еврей как образец для отработки своего собственного опыта?

42.

Бобровский занимается прямым «апокатастасисом» — восстановлением минувшего и несуществующего, только в мнимом времени: во времени, которое течет сегодня и которое будет течь и тогда, когда мира и реального времени этого мира уже не будет.

А пока что нас держит, удерживает и поддерживает единственно надежда, однако он надежды не дает, и в этом оказывается совершенно прав: человек сам должен (и вправе) решать — надеяться ему или нет.

43.

22 января 1960 года — первые чтения в Западном Берлине, в ресторане «Макс и Мориц», вместе с Иоганной.

«И господин Эллерман дал ему понять, что дело сладится, что, пожелай он заняться портретной лирикой, она будет охотно издана, вот только бы ему удалось ее некоторым образом метафизически оживить. На что мой муж ответил, что ему, возможно, удастся ее метафизически умертвить».

44.

У власти возникает ощущение, что Бобровский заигрывает с Западом.

— В любом случае это было трудным началом [...], — Юстус Бобровский, — среди этой глупости, по принципу «где власть бездушна, там дух безвластен»^{*****}.

45.

Вспоминает Г. Б. Фукс: непосредственность, умение — не сказав ни да, ни нет — не задеть собеседника, однако — при этом — виртуозное владение искусством меткого титулования в ходе многочасовых дискуссий, но и здесь: шадящий, беззлобный, мимикой и обликом — счастливый пьяноватый покупатель на рынках своей сарматской отчизны; впрочем —

высокомерному лектору: «Скажите, будьте любезны, о чем же *толкает* Ваша книга?» [Sagen Sie bitte, wovon *machandelt* Ihr Buch eigentlich?].

46.

Фукс делает гравюру к обложке сборника Бобровского. Оригинальное название «Стихотворения» [Gedichte]. Бобровский решает ждать до 31 декабря 1960, потом смириться и отступить [resignieren]. В феврале 1960 Кристоф Мекель передает рукопись «Сарматского времени» Генриху Эллерману в Мюнхен, тот колеблется. Рукопись добирается до DVA в Штутгарте. Летом подписан договор, затем, в сентябре, и с Union Verlag. В феврале 1961 сборник выходит в Штутгарте, в октябре – в Берлине (в черной обложке, без гравюры, «серьезный» шрифт).

Одно из первых параллельных изданий послевоенной литературы. Весна 1961 – раздача авторских экземпляров, трогательный список (перо и карандаш): кому подписать.

47.

«Орден Поэтического кружка Фридрихсхагена». Манфред Билер сделал морскую звезду из красного картона с буквами FD (Friedrichshagener Dichterkreis). ... *Artisten grüßen mit Hu-hu/ mit Trallala und Muellers Kuh ...* – надписывает на гравюре непере-водимую чепуху Фукс.

{Он же:

Президент избран нами единогласно. Мы
пытаемся воспарить. Наш президент
присягает на верность слову Петера Хилле:
Только там, где истина, я могу *быть*
спокоен и счастлив. Наступает минута
тишины. Наш президент склоняется
над клавирами. Он играет, а его
прекрасные гиппопотамы глаза
блуждают над звонницами Букстехуде.}

48.

Бобровский-сам: «Кружок кроме того украшали почетные члены – Гюнтер Бруно Фукс, Лотар Куше, Роберт Вольфганг Шнелль – и один член-корресподент – д-р Клаус Вагенбах».

Параграф восьмой «Статуты Поэтического кружка Фридрихсхагена»:

Центральным органом Поэтического кружка Фридрихсхагена является печень. Информационный обмен поддерживается всей душой.

49.

1 декабря 1961 Гюнтер Грасс подписывает ему свой роман «Жестяной барабан»:

Во имя Перкуна/ Поклуса,/ Потримпа!/ Иоганнесу Бобровскому

50.

В принципе, Бобровский был простой сельский паренек – дитя музыки и природы. Несмотря на знание языков, несмотря на дружбу с Максом Хельцером и увлечение книгами Ханса Хенни Янна и Джуны Барнс.

Он собирает антикварные издания Гамана и Клопштока. Рассказ Иоганны о Клопштоке, который три года простоял в антикварной лавке в Лейпциге, куда Бобровский ездил на книжную ярмарку, но так и не подешевел.

И далее: «С книгами обращался как с детьми. [...] Потом, у него были эти эластичные книги, он брал их в руку: Глянь, посмотри, разве не чудесно! Эти *Dünndruckbände* [тонкопечатные книги на ‘библейной’ бумаге], которые можно изгибать и так и сяк. Разве не чудесно, что они так гнутся!»

Потом всегда выбирал книги, которые я должна прочесть, – *Мертвые души* г-на Гоголя... Я сказала, зачем мне такая страшная книга?..»

51.

Цинке. Галерея на задворках.

Одна из важнейших культурных точек Берлина 1959–62 в районе «Берлин SO 36» в Крейцберге, на границе американского и русского секторов. Основатели – поэт и график Г. Б. Фукс, писатель, актер и живописец Р. В. Шнель, скульптор Г. Анлауф.

Цинке [Zinke] – тайный знак/идеограмма на фене/арго «ротвелш» (типа: «валим отсюда!», «можно зависнуть», «здесь водятся бабки» или «тут голяк»). Бобровского привечают в «Цинке»; Шнель дарит ему гравюру с изображением слона, как апологию «толстокожести».

52.

Письмо Ханса Вернера Рихтера (8 октября 1962) с приглашением участвовать в ноябрьских чтениях «Группы 47». От руки – как и полагалось; Бобровский благодарит и выражает уверенность в том, что это получится, «поскольку Группа по-прежнему пользуется здесь высоким авторитетом. 26-го утром я буду, стало быть, в старом казино на Ванзее». С ним читают (и вместе с ним удостаиваются наивысших оценок) Г. Грасс и И. Айхингер.

53.

П. Хухель оставляет кресло редактора Sinn und Form. (Народ безмолвствует.)

«На нападки руководства ХДС по отношению ко мне я ответил статьей в газету, она не была напечатана, но желаемое действие возымела: нежданный покой, быть может, до следующего раза. Учусь запоздало, однако учусь еще: ставить вопросы, требовать ответов» (Бобровский Хухелю 4 июня 1963).

54.

Общество Бобровского в Берлине установило на стене санированного и надстроенного «дома Альфандари» [Alfandary-Haus], Циммерштрассе 80 (т. е., у КПП, в самом

сердце Стены), где он с 1959 года работал редактором Union Verlag, памятную доску:

Темой его произведений было отношение немцев к их восточным соседям

[Thema seines Werkes war das Verhältnis der Deutschen zu ihren östlichen Nachbarn].

Мне кажется, тема И. Б. — это отношение слова к его восточному соседу (т. е. к слову справа) — слова написанного к слову произнесенному; (i) нащупывание следующего слова (ii) плюс размышление о том, не должно ли сказанное слово стать последним (iii) плюс ощущение вины за то, что данное, именно это слово произнесено — в то время как другие, столь же уместные (или неуместные) слова остаются произнесенными.

55.

«В здании издательства, прямо на границе сектора возле метро [U-Bahn] ‘Кохштрассе’, мы часто сживали вместе, пили кофе, курили и говорили о его стихах, которые он доставал из ящика письменного стола или портмоне, отпечатанные под копирку на желтой бумаге. К себе он относился насмешливо-иронично. Знаешь, говорил он, я пишу их все в поезде [S-Bahn], на откидном столике, по утрам. Вот, смотри, разве не прекрасное стихотворение?» (Г. Б. Фукс).

56.

— Само собой, у меня не было замысла написать исторический роман. Я многократно разъяснял в книге, что эта история, которой я там поделился, могла произойти во множестве самых разных мест и относиться ко множеству самых разных времен (о «Мельнице Левина»).

57.

Бобровский писал «немецким почерком» с легким наклоном вправо, так называемым шрифтом Зюттерлина

(прочсть его сегодня почти нереально), «преображая, — по словам Фукса, — агрессивные литеры в закругленную гармоническую картину».

58.

Нелегкая судьба И. Б., не возвышала ли она его в глазах друзей — и как личность, и как поэта? Но Гюнтер Бруно, скажем, и сам хватил шилом патоки: в 16 лет вспомогательная служба в Люфтваффе (ПВО), затем бельгийский плен (помощник каменщика), СОЗ — правда, ненадолго... А Билеру в начале Второй мировой было всего 5 лет. Юстус: «А также некоторыми тут с таким, что ли, недоумением было обнаружено, что он — с такими, как говорится, вагабундо — что он с такими людьми легко находил общий язык. [...] Он обладал свойством, едва стоило ему войти в помещение, как атмосфера делалась особенной. [...] И с Эрихом Фридом, они едва увиделись в первый раз и сразу же заговорили на 'ты'».

(Отец Фрида умер в 1938 после допроса в гестапо, сам Фрид тотчас же эмигрировал.)

59.

...Лило Фромм дарит ему картину (живопись на стекле) в цветах Шагала, только нежнее — не расчленяющую, а склеивающую миры: «Ханнесу..»

60.

Г. Б. Фукс издает что-то типа антологии «Чепуховых стихов» [Die Meisengeige, 1964]; «обермастер чепухи» называет его Бобровский — и «дорогой Дорогой», — посылая ему свои, довольно — не в упрек будь сказано — неудачные; похоже, шутки И. Б. никогда не лишены смысла. Фукс берет стихотворение «Местные почтмейстеры», нонсенсом, в общем-то, не являющееся, — о пожилom Мыше и потрепанной Утке, обменивающихся новостями (плюс игра слов).

{Как Чеслав Милош неравнодушен к зайцам, так его современник и относительный сосед однозначно любит мышей.}

61.

В 1964 году Бобровский издает в Eulenspiegel Verlag куртуазную книжку «Кто видит с Ильзой нас в траве» [Wer mich und Ilse sieht im Grase], сборник немецкой любовной лирики XVIII века.

62.

К началу шестидесятых он начинает чувствовать, как его развращают — и политическая система Востока, и настойчивое внимание Запада. Надежда уступает усталости.

И смерти.

63.

«По ночному городу идешь как по лесу.

Прохожие на улицах редки, разговора не разобрать. Свет над дверью 'Гюльдене Фреден'*****. Под домом — подвал, там внизу напивался Беллман, здесь, где ты стоишь, он умер — на улице. Брось шляпу в воздух, он вернется. [..]

Я не знаю, кто я здесь, в этом городе. Праздношатающийся, день-другой. Некто, кто уедет, взяв с собой нечто, воспоминание о картине: французская сценка в саду с коричнево-серебристой листвой и гитарой. Я не знаю, зачем я здесь.

Днем совершенно белый свет медленными шагами выступает из воды. Заносит над мостом ногу. Старая женщина нежно, похожим на деревянный духовой голосом, скажет: 'Возвращайся', — и раскроет объятия.

Я говорил тебе: приезд сюда был плохой идеей. Твои преувеличенные сомнения меня убедили. Завтра утром прощание в холле гостиницы, лучше всего до завтрака, до сока из тропических фруктов.

Ведь все уже сказано».

(«Заблудившийся в столице», октябрь/ноябрь 1964)

64.

Из «Моих любимых стихотворений», Кристоф Мекель:

– Поводом к возвращению для него/ были дождь и дым; звал холод... («Возвращенье»).

65.

Иоганна: «Как отец — главное, что он был здесь. Он должен был здесь быть, правда?»

66.

В 1965 году Клаус Вагенбах издает «Атлас, составленный немецкими авторами» [Atlas zusammengestellt von deutschen Autoren]:

– Он возвращается к изначальному понятию о географии как о смеси описаний с объяснениями. Атлас, учитывающий не количества жителей, но самих жителей [...], замечающий не перепады высот, но разницу в сознании и образе жизни...

На обложке работы Пюнтера Бруно Фукса имена (именно в таком порядке):

*Айхингер Кашниц Зегерс Закс Райниг Кёппен Грасс Бобровский
Блох Хекманн Фрид Рюмкорф Бирман Хильдесхаймер Фихте Хёл-
лерер Хертлинг Вайс Шаллюк Хермлин Штомпс Мекель Цукмайер
Рихтер Хербургер Артманн Бехлер Билер Крамер Йенс Хухель Ку-
нерт Носсак Кролов Бергер Айх Делиус Ленц Цвейг Фукс Фюман
Шнабель Бёль*

67.

«Ну да, и всё это, как они любят теперь говорить, он делал в свободное время. Телевизора у нас не было, он появился позже, появился только в 62. Но и тогда, позже, когда он писал ‘Литовские клавиры’ — он начал их, это было после конфирмации Юлианы, они еще сидели — гости еще сидели в комнате. Он лег тогда в шезлонг, он начал ‘Литовские клавиры’. Я видела это, что он начинает. И я подошла к нему, я сказала, должна ли я сделать так, чтобы они ушли? Нет, нет, ты не должна, говорит он. Нет, нет, ты не должна» (Иоганна).

68.

«Ибо мы спасены в надежде» (Рим. 8:24).

Доклад *Benannte Schuld – gebannte Schuld?* (Названная вина – преодолена?) на конференции Евангелической Академии Берлина и Бранденбурга.

Искусство – по словам Бобровского – призвано, вероятно, не возбуждать движение масс, но вопрошать, выявлять, обнажать, не обязательно с осязуемым результатом, но «едино в надежде» [*nur auf Hoffnung hin < auf Hoffnung hin sind wir gerettet (Röm 8:24)*].

69.

«Первый раз, когда мы говорили с ним по-настоящему, я потом вспомнил, это было 30 июля 1965.

Он тогда закончил роман ‘Литовские клавиры’, днем раньше. [..]

И в первый раз мы говорили тогда о взрослых [..]. И мы как раз занялись его хобби – коллекционированием марок. Это было как бы между прочим, но это было важно. И он мне в первый раз тогда показал, как он это делает и вообще. Он тогда еще сказал, завтра ты разбудешь пару вещей, ну, знаешь, которые нам пригодятся, и уж тогда возьмемся по-настоящему...» (Юстус Бобровский).

70.

2 сентября 1965, Сара Кирш:

*Ступай под ясное солнце, умри
Не столь искусно, дом распадись
Не мешкайте: мой серый дельфин
Успел уплыть к другим побережьям.*

71.

Кажется, на этом можно и остановиться.

72.

Наиболее полная библиография находится по этому адресу:
www.johannes-bobrowski-gesellschaft.de/jb/bibliographie.html

Наиболее полное советское издание стихотворений И. Бобровского:

Бобровский, Иоганнес. Избранное. Москва: Молодая гвардия, 1971. 447 с.

Одно из самых наглядных изданий на тему жизни и творчества И. Бобровского:

Baldauf, Helmut. Lebensbilder Johannes Bobrowski. Берлин: BasisDruck, 2011. 200 с.

⁷⁾ [Ф.:] = А. Фролов (Санкт-Петербург)

⁸⁾ [Ш.-Ж.:] = А. Щербак-Жуков (Москва)

⁹⁾ Jacques Derrida. De la grammatologie (Париж 1967)

¹⁰⁾ «Франкфуртская всеобщая газета»

¹¹⁾ поэт Сергей Завьялов (Цюрих)

¹²⁾ www.planetlyrik.de/johannes-bobrowski-meine-liebsten-gedichte/2011/03/

¹³⁾ парафраз слов Эрхарда Эпплера [Wo Sprache nicht mehr trägt, wird der Geist machtlos und die Macht geistlos]

¹⁴⁾ ресторан Den Gyldene Freden в Старом городе Стокгольма

ПЕРЕПЛЫТЬ ОЗЕРО И ВЗОЙТИ НА ХОЛМ

Борис Бартфельд

Миры детства: пространство большого детского мира и малого. Непостижимая топология вложенных многомерных пространств. Один мир вложен в другой, причем больший поглощается малым, но более ранним и потому более значимым для личности каждого человека.

Топологический парадокс — малый мир огромней большего. Именно так происходит с отображениями пространств в человеческом сознании.

В своем эссе «Текст как место»^{*} Сергей Морейно комментирует метафору, предложенную философом-постструктуралистом Роланом Бартом:

— Язык как ландшафт, текст — место в окружающем ландшафте.

Процесс взаимодействия с текстом и есть жизнь — путь, который не заканчивается нигде и начинается неизвестно откуда и когда. В сознание автора существует предчувствие текста, как и предчувствие любви или предчувствие ландшафта: озера за холмом, оврага у леса, упирающейся в холм равнины. И все-таки оспарю: известно, когда начинается процесс взаимодействия — в самом раннем детстве. Речь идет об обобщенном тексте, остающемся инвариантным во времени человеческой жизни.

Так неизменным остается в памяти и ландшафт детского мира. Для нас, выросших здесь, в этом ландшафте, детский мир является общим знаменателем, он объединяет нас с Гофманом, Бобровским и другими творцами, родившимися в приморском, во многом мифическом мире — в Сарматии, такое имя выбрал для него Иоганнес Бобровский. И мне, чья фамилия означает «Поле Барта», рожденному на границе прусских земель Бартия и Надровия, идея инвариантности во времени ландшафта детства кажется чрезвычайно важной.

Малый мир моего детства, мир в границах, освоенных к двенадцати годам.

На юг убегали холмы, отцовская горка, затем Карпухино озеро, там жил кузнец Карпов, но и в Пруссии имя этого озера — Карповен. В таинственном центральном имении — бывшем рыцарском владении четырнадцатого века Эрнстхофф, — росли гигантские туи, буки и загадочные цветы, луковицы которых в парке имения по утрам выкапывали женщины и обязательно высаживали в своих палисадниках до вечера того же дня. Дальше — большое немецко-русское кладбище погибших в Первой мировой войне, а через 3 км граница с Польшей. Погранзастава, футбольное поле и пограничная полоса за ним. Старшина пограничник перед началом игры строго инструктировал нас:

— В сторону границы сильно не бить, перелетит мяч в Польшу, никого через погранполосу не пушу, а поляки вернут мяч только через сутки.

Да, мы ездили туда играть в футбол с пограничниками. Нас возил Толик Васильев на колхозной машине с бортами синего цвета, он притормаживал у дома, и я лихо спрыгивал на ходу с борта машины. Так продолжалось, пока его не посадили — какой-то пассажир убился, ударившись головой о край незакрепленной бочки, стоявшей в кузове его машины. На этом наши матчи на границе закончились, ехать командой на велосипедах играть за 15 км прямо к польской границе слишком экстравагантно по тем временам. Таким нелепым образом южная граница мира придвинулась к дому.

На север тянулась равнина. Граница мира с этой стороны была ближе, всего в 6 км, за тем самым аэродромом, который мы называли

немецким, хотя в летние месяцы на летное поле садились наши МИГи и СУшки. На велосипедах наперегонки пацанва гоняла там по быстрой дороге, уложенной идеально подогнанными аэродромными плитами. В жару нас манил к себе бассейн, выложенный плиткой. Говорили, что в нем купались отдыхающие асы Люфтваффе, но и мы ныряли в дождевую воду, которой небо заполняло бассейн. Впервые я приехал туда на детском велосипеде — с отцом для заготовки сена. Тогда колхоз и поселковые держали столько коров, что задача выделить всем покосы решалась только с применением методов оптимизации Ляпунова. О, коровье царство, моя любимая корова Майка, но нет — про это дальше, с открытием большого мира.

На востоке моего мира за холмами плескалось озеро, главное озеро моей жизни. Не Байкал, не Онега, не Чудское, не Балатон и даже не Онтарио или Мичиган. Мое озеро с нелепым названием «Третья бригада». Со всех сторон его окружали холмы, и оно темно-синим или голубым бриллиантом, в зависимости от ясности неба, переливалось в зеленой оправе холмов. В детстве оно казалось далеким, долго идти, коротки шаги малыша. Надо подняться на две горки и спуститься вниз с последней; мы называли ее Постодольской, а первую горку Сергеевской — по фамилиям людей, живших там.

На западе моего мира дышала равнина. Дорога вела мимо Горелого имения, мимо карьера и уходила в леса. В леса, которые никто из нас так и не решился пройти до конца, до старого мазурского канала с его монументальными шлюзами.

Вверху над миром моим светилось небо, ночью бархатно-черное, днем — в зависимости от погоды, — серое, голубое, белесое. В небе царили аисты, своими крылами они разрезали его, клекотом заставляли подниматься вверх к звездам. Они улетали в самом начале осени и небо сиротело, никто не мог их заменить: ни небу, ни жителям.

Нам вполне хватало этого мира, он мог непрерывно расширяться сам по себе и без изменения границ — бесконечное количество деталей открывалось в нем, веселых, загадочных, таинственных.

Никогда за все школьные годы я надолго не покидал мой мир, не ездил в пионерские лагеря, хотя меня манили в «Артек»

и «Орленок». Здесь раскинулось мое летнее царство: наш сад, со старыми немецкими яблонями и молодыми — посаженными отцом; тропинка за садом, которой я бегал на футбольное поле; овраги, куда мы ходили за орехами; лесные опушки, где мы мальчишками собирали порох и другие отбросы войны; Бодягино болото, где водились черти и куда Леший через холмы и овраги в заплечном мешке носил им еду; озеро, с его купанием и рыбалкой.

Но с возрастом жизнь сама расширяет географию малой Родины.

На запад — через Железнодорожный, Правдинск и Калининград до самого моря.

На восток — за дальние озера, за Анграппу, к Роминтенской пуше и Виштынцу у самой Литвы.

На юг — за польскую границу: Гольдап, Венгожево, Бранево (Бартенштайн), Кентшин (Растенбург).

На севере я перешагнул за Преголю и Неман, взшел на его северный крутой берег и с величественного холма смотрел на полноводную реку. Оказалось, что холм этот — Рамбинас, священный холм литовцев и пруссов. И это тоже мой мир. Рядом с Рамбинасом на старом лесном кладбище у Немана я сидел на скамье перед черным кубом — мемориальным камнем с надписью «Кристионас Донелайтис». И хотя известно, что Поэт похоронен в другом месте, и что он никогда не бывал здесь, дух его явно присутствовал в этом воздухе, в плавном течении речного потока, в солнечном свете и узорчатых тенях леса, рядом со мной в этом времени и в этом пространстве.

Как ощущал это пространство Иоганнес Бобровский? Мальчишка, родившийся и живший в раннем детстве в Тильзите, затем в Растенбурге, а позже и в Кенигсберге, приезжавший сюда на берега Немана к бабушке и тетке, да и женившийся тоже здесь.

Ведь пространство наше такое разнородное! Что связывает его в единое целое? Культура, история, язык, реки, холмы и озера — собственно, ландшафт.

А может и сама жизнь, невзирая на государственные границы.

Озеро, на котором отец проводил за рыбалкой почти все свое свободное время, где однажды мальчишкой ранним утром, неуклюже качнув лодку, я опрокинул его, одетого в тяжелый бушлат и огромные резиновые сапоги, в воду. Помню, как он кричал мне из воды:

– Не бойся – только не переверни лодку.

Я боготворил это озеро, пока на холме над ним не поставили мощные радиолокаторы и само озеро не стало огромным отражающим зеркалом.

Иногда, на утренней рыбалке попадались угри. Откуда они здесь? Море и заливы так далеко. Но как же им угрям здесь не быть, если рядом река Анграппа (по-польски Венгораппа), города Ангерапп (Озерск) и Венгожево (Ангербург). И все эти названия – и старые, и новые связаны с угрем. От прусско-литовского: *angurys* – угорь, *arpi* – река, от современного польского: *węgorz* – угорь. И как тысячи лет назад, плывут, а где и ползут упрямые угри по утренним росистым полям из родных рек и озер к далекому морю, преодолевая эпохи и границы. Из одного языка в другой, языками уходящими и наплывающими, застрявшими в потоках воды своими реликтовыми словами, пришедшими к нам из вечности.

А может моя любимая корова, которую родители купили, когда мне еще не исполнилось пяти лет, связывает эти миры в единое пространство. Отец поехал за ней далеко, через Неман – в Юрбаркас. Почему туда, разве не водились коровы ближе? Для меня это тайна, наверное, там жили самые лучшие коровы. Ее везли на бортовой машине через Неман, по мосту Луизы в Советск и дальше на юг, к нам домой. Я помню вечер, когда ее привезли. Машину подогнали к небольшому холмику за магазином, что остался от разрушенного дома, дома из прошлой жизни поселка. Из кузова перебросили на холм настил, и отец свел вниз корову. Я помню это до сих пор. Мир моего детства оказался связан этой коровой, правда не индийской, а литовской, с заливных лугов, раскинувшихся за Неманом.

Каждый летний вечер я встречал ее с пастбища и гнал домой по улице Офицерской. Точнее не гнал, а сопровождал, она сама не хуже меня знала, куда ей следует идти, она любила свой дом и

своих хозяев, и молоко ее было сладким. Мы шли по улице Офицерской — теперь ее переименовали в Спортивную, — мы шли вечером с востока на запад, и прямо передо мной горела звезда. Яркая, с голубым отливом. Она сияла там, впереди, над огородами за Барышевой канавой. Позже мне сказали, что это не звезда, так и вышло — это мерцала планета: прекрасная Венера. Богиня любви светила мне, и я шел к ней, шел каждый вечер и, кажется, всё еще продолжаю идти.

Ныне наши малые миры поглощаются глобальным миром, но там, в поселке моего детства на футбольной площадке еще стоят ворота, не просто футбольные, нет — магические, гофмановские. Если пройти сквозь них, то возвращается время, время моего и твоего детства, и детства живших здесь до нас: Эрнста Теодора Амадея и Иоганнеса. И малый мир становится значительнее большого. Может, он и есть та самая легендарная Сарматия, воспетая в загадочных стихах Бобровского.

Теперь, когда мальчишкам моего поколения стукнуло шестьдесят, что остается мне в жизни:

— Переплыть озеро, взойти на холм, и оттуда

увидеть черепичные крыши домов,

все еще плывущие в царственных кронах каштанов.

Последние черепичные крыши в кронах последних каштанов.

Так заканчивается история — история частной жизни,

если она не становится текстом,

который продолжает жизнь.

⁹ <http://www.ergojournal.ru/?p=694>

Иоганнес Бобровский

ТЕНЕРЕЧЬЕ

Избранные стихотворения

Технический редактор: В. Н. Васильева

Корректор: О. С. Говорухина

Оператор: Н. С. Орлов

Подписано в печать 18.11.2016.

Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.
Уч.изд. л. 7,34. Усл.печ. л. 8,96. Заказ № 2115.1. Тираж 500.

Отпечатано в типографии ООО «Принт-2»
426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 5.